

На правах рукописи

МАУЛЬ  
Виктор Яковлевич

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РУССКОГО БУНТА  
(по материалам Пугачевского восстания)

Специальность 07.00.02. - Отечественная история

АВТОРЕФЕРАТ  
диссертации на соискание ученой степени  
доктора исторических наук

Томск – 2005

Работа выполнена на кафедре отечественной истории Томского государственного университета

**Научный консультант** - доктор исторических наук,  
профессор Аниса Нурлгаяновна Жеравина

**Официальные оппоненты** - доктор исторических наук,  
доцент Игорь Николаевич Данилевский  
- доктор исторических наук,  
профессор Юрий Алексеевич Сорокин  
- доктор исторических наук,  
профессор Анатолий Тихонович Топчий

**Ведущая организация** - Институт славяноведения  
Российской Академии наук

Защита состоится «27» мая 2005 г. в 15<sup>00</sup> на заседании специализированного совета Д 212.267.03 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история, 07.00.03 - Всеобщая история, 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического исследования в Томском государственном университете (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36).

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Томского государственного университета

Автореферат разослан «20» февраля 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета  
доктор исторических наук, профессор

О.А. Харусь

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы** определяется ее органичной включенностью в современный российский социально-политический контекст. Русский бунт непосредственным образом связан с проблемой массового насилия, которая является злободневной для всего новейшего периода истории, но особенно - для рубежа XX-XXI веков. В наше время необычайно актуален поиск истоков этого насилия, его социально-психологических и социокультурных оснований, в связи с чем заостряется вопрос о возможности русского бунта в современных условиях. В свете сегодняшних реформаторских инициатив необходимо учитывать и возрастающую потребность в изучении тех сил, которые на разных этапах модернизации страны олицетворяли собой консервативное начало. К их числу, несомненно, следует отнести и русский бунт. Такая постановка вопроса детерминирует многоструктурную проблему «власть и общество», «власть и массы», опыт решения которой востребован в современных российских условиях. При этом накопленный наукой багаж знаний и интерпретаций в изучаемой области едва ли можно признать соответствующим не только эвристическим потребностям времени, но и гносеологическим потенциям отечественной историографии. А потому необходимы новые изыскания в данном направлении с использованием в первую очередь современных методологических подходов, что и предопределило обращение диссертанта к проблеме социокультурной обусловленности русского бунта.

**Историография.** В современных условиях историческая наука демонстрирует практически полный индифферентизм к одной из наиболее востребованных еще недавно страниц прошлого. Ожесточенные «баталии» по поводу «крестьянских войн» благополучно канули в Лету и сегодня мало привлекают внимание историков. Накопленные наукой интерпретации чаще всего олицетворяют собой попытки «прочитать» русский бунт на языке модернизации, т.е. новоевропейской культуры, что является по существу неразрешимой задачей. На этом языке невозможно понять архитектуру русского бунта. Отсюда проистекает и хрестоматийная, восходящая к А.С. Пушкину, оценка русского бунта как «бессмысленного» и «беспощадного», сформировавшая устойчивый научный и общественный стереотип.

Характеристика столь же распространенная, сколь и несправедливая. Ее можно встретить в общих и специальных трудах исследователей XIX-начала XX вв. А.И. Дмитриева-Мамонова, Н.Ф. Дубровина, Н.И. Костомарова, А.Н. Попова и других не менее маститых авторов. При всей значимости фактической стороны их исследований, они чрезмерно злоупотребляли драматически-эмоциональными констатациями, описаниями конкретных случаев повстанческих расправ, не становившихся предметом глубокого научного анализа. В оценочной части преобладали априорные суждения отрицательного свойства. Ученые неизменно приходили к выводу о «звериной» сущности русской «черни», о «темноте», «бескультурье» и «глупости» простонародья. Аналогичная и даже более негативная позиция – отличительная черта практически всех дореволюционных исследователей.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> См., напр.: Попов А.Н. История возмущения Стеньки Разина. - М., 1857; Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники. - СПб., 1884. - В 3-х т.; Фирсов Н.Н. Разиновщина как социологическое и психологическое явление народной жизни. - СПб.; М., 1906; Дмитриев-Мамонов А.И. Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири. - СПб., 1907; Костомаров Н.И. Бунт Стеньки Разина // Костомаров Н.И. Бунт Стеньки Разина. Исторические монографии и исследования. - М., 1994. С.330-440.

Безусловно, среди них были и те, кто пытался маркировать русский бунт не столь уничижительно. К тому же, в общественно-политической и публицистической литературе встречались и более радикальные оценки, вплоть до призывов «к топору», но к научной мысли они не имеют отношения и заслуживают специальных исследовательских интерпретаций. В целом подобные трактовки русского бунта не характерны для исторических исследований того времени. Поэтому можно признать, что со страниц научных и публицистических изданий XIX-начала XX вв. русский бунт предстал в весьма красноречивом и устрашающем виде.

Что касается исследований советских ученых, можно заметить, что неисчерпаемый историографический массив их трудов прочно базировался на теории классовой борьбы, а сами народные движения рассматривались как этапы на пути к светлому будущему. Термин «бунт» был предан анафеме и исключен из понятийного арсенала исторической науки, и такая позиция выглядела по-своему логичной и последовательной. В соответствии с канонами марксистской схемы была разработана концепция «крестьянских войн в России». Ведущим направлением стало изучение идейного содержания и потенциала народных движений, анализ их характера и значения. Однако, в современном эпистемологическом пространстве споры об антифеодальности и идеологии протестных выступлений XVII-XVIII вв. выглядят не слишком убедительными и требуют дальнейшего осмысления и уточнения.<sup>2</sup>

Пристальное внимание было уделено отдельным сюжетам повстанческой тематики, например, истории самозванцев и самозванческих интриг, которые в основном исследовались как составная часть тех или иных народных движений, связанных с действиями самозванных претендентов. Самозванчество в этих работах рассматривалось как форма классовой борьбы, проявление «наивного» монархизма, царистских «иллюзий» народных масс, что значительно сужало исследовательские возможности ученых. Тем не менее, удалось реконструировать событийную канву многих самозванческих интриг и накопить значительный иллюстративный материал. Безусловным изъяном советской историографической традиции было недостаточное внимание к изучению народного монархизма как комплексной проблемы. Считалось, что в этом нет большой необходимости, так как вера в «добраго царя» расценивалась в качестве рудимента в целом передовой идеологии повстанцев.<sup>3</sup>

Классическими для своего времени стали исследования К.В. Сивкова и С.М. Троицкого, собравшими и удачно интерпретировавшими с марксистских позиций обширный фактический материал. Настоящим прорывом в изучении самозванчества стало исследование К.В. Чистовым русских народных социально-утопических легенд о «возвращающихся «царях-избавителях», которые, как показал ученый, возникают, когда в сознании крестьян созревает готовность к активной борьбе против господства

<sup>2</sup> См., напр.: Шапиро А.Л. Об исторической роли крестьянских войн XVII-XVIII вв. в России // Ист. СССР. - 1965. - №5. - С.61-80; Мавродин В.В. Советская историческая наука о крестьянских войнах в России // Смирнов И.И., Маньков А.Г., Подъяпольская Е.П., Мавродин В.В. Крестьянские войны в России XVII-XVIII вв. - М.; Л., 1966. - С.307-320; Смирнов И.И. Крестьянские войны и их место в истории России // Крестьянские войны в России XVII-XVIII веков: проблемы, поиски, решения. - М., 1974. - С.26-34; Рындзюнский П.Г. Идеиная сторона крестьянских движений 1770-1850 гг. и методы ее изучения // Вопр. ист. - 1983. - № 5. - С.4-16.

<sup>3</sup> См., напр.: Андрущенко А.И. О самозванстве Е.И. Пугачева и его отношениях с яицкими казаками // Вопросы социально-экономической истории и источниковедения периода феодализма в России: Сб. ст. - М., 1961. - С. 146-150; Буганов В.И. Крестьянские войны в России XVII-XVIII вв. - М., 1976; Скрынников Р.Г. Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев. - Новосибирск, 1990 и др.

крепостников и крепостнического государства. Концепция К.В. Чистова оказала влияние на всю дальнейшую историографию темы. Существенный вклад в нее внесли А.М. Панченко и Б.А. Успенский, рассмотревшие данный феномен в культурно-исторической «оболочке» отечественного прошлого. Помимо прочего, интересна попытка ученых установить связь самозванчества с народным смехом, в частности, с «игрой в царя», которая выглядит достаточно привлекательной и перспективной, но не вполне доказанной, требующей поиска новых аргументов и социокультурных контекстов.<sup>4</sup>

Подходы современных историков основаны на применении новых методологических возможностей науки и направлены на создание приемлемых типологий самозванцев, выяснение дефиниций, используемых учеными понятий. Предпринимается попытка и более адекватного изучения социокультурной природы этого явления на широком хронологическом и географическом фоне.<sup>5</sup>

Наиболее успешными в этой области сегодня можно признать работы О.Г. Усенко. К сожалению, необходимо констатировать, что несомненно привлекательные научные доводы ученого не получили пока адекватной историографической реакции, поэтому предлагаемые им дефиниции не могут быть целиком взяты на вооружение, но их ни в коем случае нельзя игнорировать.<sup>6</sup>

Собственно Пугачевский бунт также имеет давнюю историографическую традицию, восходящую еще к современникам событий. Особое внимание ему уделялось советскими учеными, которые трактовали его как одну из крупнейших крестьянских войн. Был создан внушительный блок исторических произведений о восстании под предводительством Е.И. Пугачева. Назовем имена только некоторых историков, плодотворно трудившихся над этой темой: А.И. Андрущенко, М.Т. Белявский, В.И. Буганов, Ю.А. Лимонов, В.В. Мавродин, Х.И. Муратов, Р.В. Овчинников, П.Г. Рындзюнский, М.А. Рахматуллин и многие другие.<sup>7</sup> В их работах Пугачев показан как

<sup>4</sup> Сивков К.В. Самозванчество в России в последней трети XVIII в. // Ист. зап. - М., 1950. - Т.31. - С.88-135; Троицкий С.М. Самозванцы в России в XVII-XVIII вв. // Вопр. ист. - 1969. - №3. - С.134-146; Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв. - М., 1967; Успенский Б.А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Успенский Б.А. Избранные труды. - М., 1996. - Т.1. - С.142-183; Панченко А.М. Русская культура в канун Петровских реформ // Панченко А.М. Русская история и культура: Работы разных лет. - СПб., 1999. - С.6-260.

<sup>5</sup> Андреев И.Л. Самозванство и самозванцы на Руси // Знание-сила. - 1995. - №8. - С.46-56; Андреев И.Л. Анатомия самозванства // Наука и жизнь. - 1999. - №10. - С.110-117; Побережников И.В. Зауральский самозванец // Вопросы истории. - 1986. - №11. - С.182-185; Побережников И.В. Крестьянское правосознание и волнения на Урале в середине XVIII в. // Власть, право и народ на Урале в эпоху феодализма. - Свердловск, 1991. - С.119-126; Побережников И.В. «Добрые цари» на Урале // Родина. - 1995. - №2. - С.73-74; Мыльников А.С. Самозванчество в контексте Просвещенного абсолютизма (о модификации просветительской идеологии в народной культуре) // Монархия и народовластие в культуре Просвещения. - М., 1995. - С.24-35; Тюменцев И.О. Смута в России в начале XVII столетия: движение Лжедмитрия II. Автореф. дисс. ... д-ра ист. наук. - СПб., 1999; Лукин П.В. Народные представления о государственной власти в России XVII века. - М., 2000.

<sup>6</sup> Усенко О.Г. Самозванчество на Руси: норма или патология? // Родина. - 1995. - №1. С.53-57; №2. - С.69-72; Усенко О.Г. Кто такой «самозванец»? // Вестник славянских культур. - 2002. - №5-6. - С.39-51; Усенко О.Г. Монархическое самозванчество в России в 1762-1800 гг. (опыт статистического анализа) // Россия в XVIII столетии. - М., 2004. - С.290-353; Усенко О.Г. Типология самозванцев монархического толка в России второй половины XVIII века // История России сквозь призму борьбы за власть. - СПб., 2004. - С.13-16; Усенко О.Г. 17 самозванцев у русского трона // Родина. - 2004. - №5. - С.65-69.

<sup>7</sup> Мавродин В.В. Крестьянская война в России в 1773-1775 годах. Восстание Пугачева. - Л., 1961. - Т.1; Мавродин В.В. Под знаменем крестьянской войны (Война под предводительством Емельяна Пугачева). - М., 1974; Андрущенко А.И. Крестьянская война 1773-1775 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале и в

выдающийся вожак восставшего народа, признанный предводитель крупнейшего антикрепостнического народного движения в России, рассмотрены причины, предпосылки и другие аспекты восстания 1773-1775 гг. В такой ситуации естественно, что любой исследователь, вновь берясь за тему Пугачевщины, вступает на «скользкий лед», рискуя навлечь на себя «праведный гнев» своих многочисленных предшественников. Но что же делать? Историческая наука не стоит на месте, и то, что казалось «пределом совершенства» еще вчера, уже не может удовлетворить познавательные запросы гуманитаристики.

Хотя в изучении конкретно-исторических сторон социального (или, в тогдашней терминологии, классового) протеста, несомненно, были получены продуктивные результаты, основной недостаток исследований заключался в априорной идеализации восставших, в акцентировании социально-экономического анализа и игнорировании других исследовательских методов. За более чем 70-летнюю историю изучения «крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева» советскими историками был накоплен огромный багаж знаний, осмыслены многие ключевые проблемы. Однако при всем внимании исторической науки, как к комплексному исследованию, так и к отдельным сюжетам Пугачевского восстания наиболее ценными для нас в работах советских историков являются не столько авторские интерпретации, сколько информативная сторона исследований, ставшая основанием для хронологической, каузальной и событийной рефлексии по поводу Пугачевщины.

Недостаточность существующей типологии явственно дала о себе знать после отказа отечественных историков от признания классовой борьбы демиургом исторического развития. В такой связи большой интерес вызывает попытка некоторых ученых рассматривать проблему сквозь призму «русского бунта». Отмечается, что это весьма специфичное явление, не похожее на выступления социальных низов в других странах. Прозвучал и сакраментальный вопрос о возможности «русского бунта» сегодня.<sup>8</sup>

Казалось бы, современные историки должны отказаться от априорных оценок русского бунта и подойти к проблеме эмоционально-беспристрастно. Но эти ожидания, за редкими исключениями, не оправдываются.<sup>9</sup> В последнее время знаки в характеристике этого важного феномена отечественной истории опять стали меняться с плюса на минус. Сегодня под пером историков и публицистов Пугачев все чаще вновь оказывается злодеем, садистом и изувером.<sup>10</sup> Начала и концы прихотливой историографической кривой сомкнулись в отрицании одного из выдающихся персонажей отечественной истории. То же самое можно сказать и об оценке русского бунта в целом. При всей масштабности и плодотворности работы, проделанной учеными, их представления характеризуют только внешнее впечатление от бунта, как

---

Сибири. - М., 1969; Рындзюнский П.Г., Рахматуллин М.А. Некоторые итоги изучения Крестьянской войны 1773-1775 гг. // Ист. СССР. - 1972. - № 2. - С. 71-88; Лимонов Ю.А. Пугачев и пугачевцы. - Л., 1974; Буганов В.И. Крестьянские войны в России XVII-XVIII вв. - М., 1976; Буганов В.И. Пугачев. - М., 1984; Белявский М.Т. Некоторые итоги изучения идеологии участников крестьянской войны 1773-1775 гг. в России // Вестн. Моск. ун-та. Сер.8. История. - 1978. - № 3. - С.34-46; Муратов Х.И. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева (1773-1775). - М., 1980; Овчинников Р.В. Манифесты и указы Е.И. Пугачева: источниковедческое исследование. - М., 1980 и др.

<sup>8</sup> Соловьев В.М. Анатомия русского бунта. Степан Разин: мифы и реальность. - М., 1994; Канищев В.В. Русский бунт - бессмысленный и беспощадный. - Тамбов, 1995.

<sup>9</sup> Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). - Т.2: Теория и методология. Словарь. - Новосибирск, 1998. - С.88-89; Лурье С.В. Историческая этнология. - М., 1998. - С.326, 332, 331, 325.

<sup>10</sup> См., напр.: Шахмагонов Н.Н. Емельян Пугачев - разрушитель или герой? // Человек и закон. - 1991. - №3-4. - С.80-89.

бы взгляд со стороны. Декларируемый ими познавательный монизм обуславливает характеристику бунта, как простой совокупности насильственных действий простонародья, лишенных каких бы то ни было позитивных потенций. Не удивительно, что в нашей науке, отринувшей «марксистско-ленинское иго», добрых слов в адрес русского бунта практически не осталось.

Однако привычно-стереотипная рефлексия в состоянии породить только научное объяснение, далекое от полноценного понимания изучаемого феномена. А, значит, исследование русского бунта требует нетрадиционных исследовательских дискурсов и методологических контекстов. Необходимы герменевтические подходы к изучаемому феномену. Культивированное современной историографией стремление «прочитать» историю «снизу», и даже «изнутри», детерминирует большее доверие к свидетельствам малозаметных персонажей исторического процесса. Стало очевидным, что «коллективная» составляющая истории должна дополняться с учетом индивидуального, казусного, единичного. В этом смысле есть чему поучиться у историков-«всеобщников», работающих в жанре исторической антропологии (А.В. Гордон, Л.П. Репина, З.А. Чеканцева и др.), но их работы построены на иностранном материале и представляют, прежде всего, концептуальный и компаративистский интерес.<sup>11</sup> Методологическое значение для нас также имели исследования зарубежных ученых, посвященные народным движениям в Европе на исходе Старого порядка или же протестным событиям российской истории.<sup>12</sup> Теоретическое осмысление бунтарства дано в классических работах А. Камю, Х. Ортеги-и-Гассета, у других мыслителей, глубокие рассуждения и настроения которых актуализируются трагизмом XX столетия.<sup>13</sup>

Таким образом, отметим, что, пережив свой расцвет в советский период, сегодня, к сожалению, изучение бунташной проблематики в отечественной науке оказалось на историографической обочине. Многим исследователям порой не хватает научной интуиции, чтобы осознать насколько она органично вписывается в современный социально-политический фон, заставляет и помогает осмыслить многие злободневные реалии. Среди интересующих историков вопросов «русский бунт», к сожалению, один

<sup>11</sup> Гордон А.В. Крестьянские восстания в Китае XVII-XIX вв. Методологические проблемы изучения крестьянских движений в новейшей западной историографии. - М., 1984; Репина Л.П. Социальные движения и революции XVI-XVII вв. в современной компаративной историографии // Новая и новейш. ист. - 1990. - №3. - С.63-74; Чеканцева З.А. Порядок и беспорядок. Протестующая толпа во Франции между Фрондой и Революцией. - Новосибирск, 1996; Николаева И.Ю. Образ власти в современной историографии: новые подходы и методологии (по материалам медиэвистики) // Историческая наука и историческое сознание. - Томск, 2000. - С.123-150 и др.

<sup>12</sup> Рюде Дж. Народные низы в истории. 1730-1848. - М., 1984; Лемаршан Г. Классовая борьба на исходе феодализма: народные волнения и восстания во Франции XVI-XVII вв. Итоги исследований // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8: История. - 1991. - № 2. - С.3-23; Даннинг Ч. Была ли в России в начале XVII века крестьянская война? // Вопр. ист. - 1994. - № 9. - С.21-34; Нольте Г.-Г. Русские «крестьянские войны» как восстания окраин // Вопр. ист. - 1994. - № 11. - С.31-38; Ингерфлом К. Политическая история России: этнологическое измерение // Политическая история на пороге XXI века: традиции и новации. - М., 1995. - С.141-150; Тоёкава К. Оренбург и оренбургское казачество во время восстания Пугачева. 1773-1774. - М., 1996; Perrie M. Pretenders in the Name of the Tsar: Cossack «Tsareviches» in Seventeenth Century Russia // Von Moskau nach St. Petersburg: Das russische Reich im 17 Jahrhundert. - Wiesbaden, 2000. - P.243-256; Биллингтон Дж. Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры. - М., 2001; Филд Д. Размышления о наивном монархизме в России от эпохи Пугачева до революции 1905 г. // Экономическая история. Обзорение. - Вып. 8. - М., 2002. - С.110-115.

<sup>13</sup> Камю А. Бунтующий человек // Камю А. Бунтующий человек: Философия. Политика. Искусство. - М., 1990. - С.336-337. См. также: Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. - М., 1991. - С.40-228.

из наименее ангажированных. Отчасти это вызвано реакцией интеллектуалов на гипертрофию повстанческой тематики в советское время. Отчасти – связано с трудностями теоретико-методологического характера. Привычная методология, разного рода детерминизмы уже не в состоянии обеспечить прирост новых знаний об изучаемом феномене. Как представляется, озвученный последними научными работами интеллектуальный дискурс русского бунта сулит большие познавательные перспективы, но он требует своей более адекватной реализации.

**Объектом диссертационного исследования** является Пугачевский бунт как продукт отечественного культурно-исторического опыта в различных его ипостасях, обусловленных социокультурной ситуацией переходного периода от традиционной эпохи к Новому времени. Очень важно то обстоятельство, что бунт для России - явление нередкое, специфические признаки русского бунта «вызревали» в течение долгого времени. Все прежние бунтарские выступления хоть в чем-то, но «не дотягивали» до «идеального типа». В этом смысле именно Пугачевское восстание в максимальной степени воплотило в себе сущностные черты и особенности отечественного бунтарства, а, следовательно, обращение к нему словно лакмусовая бумага обозначит наиболее яркие грани русского бунта как феномена социокультурной истории Руси/России.

Изучаемое явление можно понять только в контексте функционирования и трансформации традиционной культуры в переходный период своего бытия. Поэтому **предмет исследования** – это система многообразных культурных связей и отношений, формировавших защитный механизм традиционной культуры в условиях российской модернизации, которые отражались в субъективных переживаниях людей – участников, карателей и современников Пугачевского бунта, в их не только осознанных, но и бессознательных мироощущениях. Иначе говоря, нас будет интересовать не столько сама историческая реальность («как это собственно было»), сколько ее порой причудливое отображение на разных уровнях «ментальной оснастки» изучаемой эпохи.

**Цель диссертационного исследования** заключается в изучении по материалам Пугачевского восстания полисемантической социокультурной природы русского бунта. Поскольку адекватное понимание этого неординарного исторического феномена обуславливает взгляд на него глазами самих участников, противников и современников бунта, их мироощущения, умонастроения, взрывы эмоций и проявление неуправляемых бессознательных стереотипов, раскрываясь на страницах диссертации, позволят наполнить каждый акт протестного поведения пугачевцев глубинным смыслом, имеющим основание в традиционной культуре российского общества.

Цель работы реализуется в последовательном решении нескольких промежуточных задач, позволяющих вскрыть объективную социокультурную обусловленность и природу Пугачевского бунта, выраженную в субъективных переживаниях людей.

**Задачи исследования** состоят в изучении:

- сущностных черт пространства традиционной культуры переходного периода как «месторазвития» русского бунта в ментальных рефлексиях и действиях участников, усмирителей и современников Пугачевщины;
- различных форм и уровней (общественный, групповой, личностный) поиска традиционной культурой своей идентичности в переходный период, их отражения в восприятии и поведении участников, усмирителей и современников Пугачевского бунта;
- сознательных и бессознательных экстраполяций культурных архетипов русского самозванчества на мироощущение и поведение Пугачева и пугачевцев, их противников и современников;



- социокультурного содержания русского бунта на примере Пугачевского восстания, отраженного как в «перевернутом зеркале» народной смеховой культурой;
- субъективного восприятия участниками, усмирителями и современниками Пугачевского бунта объективных причин, природы и разновидностей массового кровопролития в его экстремальных проявлениях в форме казней.

Хронология Пугачевского бунта хорошо известна – 1773-1775 гг. Однако **хронологические рамки** диссертационного исследования будут значительно шире – они в основном обозначаются тремя четвертями XVIII столетия и определяются как время складывания социокультурных предпосылок Пугачевского бунта и воздействия их на массовую психологию. При таком подходе «местом» действия Пугачевщины оказывается сакрализованное пространство традиционной культуры в переходный период, которое не столько осознавалось, сколько переживалось современниками. Нижняя временная граница обозначена усилением натиска культурных инноваций со времен Петра I, а верхняя - детерминирована тем обстоятельством, что в Пугачевском бунте традиционная культура исчерпала свой эмоциональный заряд и уже не могла больше активно сопротивляться процессу модернизации, проводимой государственной властью.

**Территориальные границы исследования** главным образом совпадают с территорией, охваченной Пугачевским бунтом – это Приуралье и Зауралье, Поволжье и Прикамье, а также некоторые районы Сибири. Однако, коль скоро нас интересует социокультурная «физиономия» Пугачевщины, в зачет принимается и реакция на бунт населения других областей страны.

Стремление к достижению адекватных научных решений, поставленных в работе задач, обозначает потребность в соответствующем источниковом фундировании. **Источниковую основу диссертационного исследования** составил, прежде всего, комплекс судебно-следственных документов, которые не только отложились в центральных и областных архивах страны, но и были в значительном количестве неоднократно опубликованы.

Ведущее место принадлежит Российскому государственному архиву древних актов (РГАДА), в Фонде 6 которого сосредоточены «Уголовные дела по государственным преступлениям и событиям особой важности». Здесь в материалах Тайной экспедиции Сената хранятся документы следственного и судебного производства по делу Пугачева. Здесь же находятся протоколы допросов ближайших его сподвижников, переписка и следственные материалы Казанской и Оренбургской секретных комиссий. Кроме того, в собрании бумаг С.И. Маврина имеются черновики допросов Пугачева в Яицком городке и Симбирске, донесения и переписка по делам следствия.<sup>14</sup> В Российском государственном историческом архиве (РГИА) были изучены правительственные документы, также относящиеся к Пугачевщине.<sup>15</sup> Из провинциальных архивов были исследованы фонды Государственного архива Челябинской области (ГАЧО). В нем хранятся материалы о ходе действий пугачевцев под Оренбургом.<sup>16</sup>

В работе использован обширный комплекс следственных материалов над участниками Пугачевского бунта, которые были опубликованы за многие годы изучения этого важного события нашей истории. Выдающуюся роль в их публикации сыграли такие видные ученые, как М.Н. Покровский, М.Н. Мартынов, Р.В. Овчинников, М.А.

<sup>14</sup> РГАДА. Ф.6. Д.512. Ч.1-3; РГАДА. Ф.6. Д.505, 506; Д.507. Ч.1-6; Д.508. Ч.1-3; РГАДА. Ф.6. Д.661, 662, 663.

<sup>15</sup> РГИА. Ф.468. Оп. 32. Д. 2.

<sup>16</sup> ГАЧО. Ф. И. 33. Оп. 1. Д.3.

Усманов, А.П. Пронштейн, И.М. Гвоздикова, А.П. Николаенко, В.А. Нестеров, Ю.А. Лимонов и др. Благодаря самоотверженному труду публикаторов мера «доступности» Пугачевского бунта ученым значительно возросла. Игнорировать эти источники не представляется возможным для современного исследователя, ибо в них содержатся многочисленные свидетельства о различных аспектах Пугачевщины, позволяющие воссоздать не только событийно-хронологический «текст» бунта, но и его социокультурный контекст.<sup>17</sup>

Предпочтение судебно-следственных материалов другим видам источников можно объяснить тем, что сведения о конкретных повседневных судьбах людей непривилегированных сословий в традиционном обществе почти отсутствуют. Жизнь простонародья становится осязаемой только в чрезвычайной ситуации. Такой ситуацией было участие в преступлении. Расследование преступлений сопровождалось составлением документов. В ходе допросов фиксировалась и уточнялась биография преступника, подробно выяснялась картина преступления. Кроме того, на материалы допросов можно взглянуть как на отражение многообразных житейских ситуаций, бытовых подробностей, взаимоотношений людей. Источники запечатлевают ментальность эпохи, ее различные уровни, не только сознательные, но и бессознательные компоненты. Значительный комплекс таких материалов сложился в результате допросов участников Пугачевского бунта.<sup>18</sup>

Бесспорная значимость данной группы источников определяется тем, что они исходят от самих восставших или из среды простонародья, а значит, фиксируют их мысли, представления, надежды, эмоции и т.п. Одним словом, допросные речи представляют собой уникальный в своем роде, весьма информативный и сложный комплекс источников. Они требуют весьма тонких и осторожных источниковедческих интерпретаций, так как публичные декларации людей, их словесные заверения могут расходиться с их реальными мыслями и поступками. К тому же в поведении людей проявляются подсознательные установки, которые не могут быть выражены вербально.

Выявление осознанных, либо неотрефлексированных мироощущений участников Пугачевского бунта адресуется наше внимание к другому уровню судебно-следственных материалов – это документы повстанческих властей и учреждений, непосредственно вышедшие из лагеря бунтовщиков. К ним относятся именные манифесты и указы Пугачева-Петра III, постановления пугачевской Военной коллегии, повседневная переписка повстанческих учреждений между собой и т.д.

В этих источниках отражаются свойственные повстанцам психические установки и архетипические стереотипы, проявляющиеся в их отношениях к государственной и общественной жизни, к роли и значению царской власти и личности царя, к возможности и обоснованию насилия по отношению к «изменникам» и многое другое. Отличие и особенность этой группы источников в том, что они фиксируют умонастроения, чаяния, намерения и ожидания повстанцев, не только находящихся на свободе (а не на допросе у следователя), но и сохраняющих еще надежду на общий успех. Информативное пространство данных документов таково, что фактически

<sup>17</sup> Пугачевщина. - М.; Л., 1929. - Т.2; Пугачевщина. - М.; Л., 1931. - Т.3; Следствие и суд над Е.И. Пугачевым // Вопр. ист. - 1966. - №3. - С.130-138.; №4. - С.111-126.; №5. - С.107-121.; №7. - С.92-109.; №9. - С.137-149; Протокол показаний сотника яицких казаков-повстанцев Т.Г. Мясникова на допросе в Оренбургской секретной комиссии 9 мая 1774 года // Вопр. ист. - 1980. - №4. - С.97-103; Емельян Пугачев на следствии. - М., 1997 и др.

<sup>18</sup> См., напр.: Майорова А.С. Материалы допросов участников Пугачевского восстания как биографический источник // Россия в IX-XX веках. Проблемы истории, историографии и источниковедения. - М., 1999. - С.256-258.

исключало необходимость социальной мимики, которую можно ожидать в допросных речах.<sup>19</sup>

Стремление к адекватному анализу комплекса допросных речей заставляет уделять большое значение методам и приемам извлечения из них сведений. Вполне кредитоспособной представляется нам методика, разработанная О.Г. Усенко. Он предлагает базировать интерпретацию указанных источников на выявлении в них двух информационных пластов. Первый - содержит явно выраженную и достоверную информацию конкретного характера, которая отражает историческую реальность в обеих ее ипостасях - и объективной, и субъективной. Данная информация извлекается в процессе интерпретации низшего уровня - при выявлении непосредственного содержания текста. Второй пласт - это скрытая информация, получаемая в ходе интерпретации высшего уровня - при выявлении смысла текста. Другими словами, это частичная реконструкция психического и духовного мира изучаемых персонажей на том его уровне, где коренятся общественное сознание, групповое сознание, социальная психология и менталитет. Она отражает лишь субъективный аспект исторической реальности. При работе с судебными материалами целесообразно применять системный подход: все источники, созданные в определенный период и/или относящиеся к некоей общности, можно рассматривать как элементы единой информационной системы. В то же время каждый из них предстает как относительно автономная система. Надо учитывать, что большинство источников являются продуктами взаимодействия двух сознаний - следователей и подсудимых. Если последние - выходцы из низших слоев общества, то речь уже идет о взаимодействии двух культур - «письменной» и «устной», «элитарной» и «народной». К тому же нужно помнить, что нас интересует не столько то, что в действительности происходило в России XVIII в., сколько то, как эти процессы отображались в народном мировосприятии. Поэтому нужно следовать принципу «диалога культур», который требует от исследователя осознания относительности привычных для него социокультурных норм и ориентирует его не на вынесение оценок «иному», а на понимание и объяснение «чужеродного».<sup>20</sup>

Высокие познавательные перспективы сулит обращение к устному народному творчеству. Голос народа, нашедший отражение в исторической песне, народной сказке, пословицах и других фольклорных жанрах, гораздо объективнее и доброжелательнее, чем повествовательные и эпистолярные сочинения того времени, доносит до нас сведения о том, как преломились события Пугачевщины через народное мировоззрение, как отразились они на состоянии умов и настроениях, какие слабости и предрассудки тогдашнего русского человека они выявили. В фольклоре народ выразил свое понимание происходящих событий, запечатлел собственные представления о справедливости. И хотя от фольклорных произведений едва ли можно ждать исторической точности, они, тем не менее, вполне историчны. Историзм их проявляется, например, в отборе и героизации воспеваемых событий.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> См., напр.: Пугачевщина. - М.; Л., 1926. - Т.1; Документы Ставки Е.И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773-1774 гг. - М., 1975; Возвращения и переписка вожак пугачевского движения в Поволжье и Приуралье. - Казань, 1988.

<sup>20</sup> Усенко О.Г. Примерная стратегия интерпретации следственных материалов по делам о государственных преступлениях в России XVII-XVIII вв. // Народ и власть: исторические источники и методы исследования: Матер. XVI научн. конф. - М., 2004. - С.366-369.

<sup>21</sup> Народные исторические песни. - М.; Л., 1962; Русские народные сказки. - М., 1978. См. также: Соловьев В.М. Русская фольклорная традиция о разинском восстании // Вестн. Моск. ун-та Сер. 8:

Еще одной группой источников являются сочинения в основном мемуарного и эпистолярного жанров, созданные представителями господствующих сословий, нередко непосредственными участниками подавления Пугачевщины, либо иностранцами, оказавшимися в нашей стране в это судьбоносное время. Их описания представляют интерес, поскольку показывают ситуацию экзистенциального выбора в условиях русского бунта с противоположной стороны, из лагеря врагов и карателей протестного движения. Тем более важным оказывается сопоставление их мнений и оценок происходящего в России с результатами анализа судебно-следственных материалов, что приводит к очень плодотворным результатам. Что касается свидетельств иностранцев, то здесь интересен двойной масштаб измерения. С одной стороны, мы имеем дело со взглядом носителей европейского культурного багажа, более рационализованного и обмирщенного, с их оценками, характеристиками и пониманием протекавших в России модернизационных процессов. С другой же стороны, это взгляд людей, априорно враждебных повстанцам в силу своего социального происхождения и воспитания. Последнее обстоятельство сближает их с российским дворянством. Иначе говоря, это взгляд со стороны, человека «чужого», пристрастного, хотя вполне образованного и умного.<sup>22</sup>

Перечень источников, использованных для изучения социокультурного пространства русского бунта, с необходимостью был выведен за рамки только Пугачевщины. Стремление создать динамическую модель русского бунтарства потребовало обращения и к истории других восстаний позднего российского средневековья (начала XVII в., городских восстаний середины XVII в., Разинщины, стрелецкого бунта 1682 г., Булавинского восстания и т.д.), а, следовательно, и использования соответствующих источниковых комплексов. Благодаря привлечению данных материалов стал возможен сравнительный ракурс рассмотрения русского бунта, процесса формирования его специфических черт и особенностей, а потому, сконструированная нами модель русского бунта в его социокультурной оболочке, приобрела диалектический характер. Это позволило более аргументировано показать Пугачевщину как сложившуюся, завершённую, так сказать, классическую форму русского бунтарства.<sup>23</sup>

Круг привлеченных источников представляется вполне репрезентативным и верифицируемым, позволяющим исследовать различные аспекты поставленной проблематики и в целом обеспечивает достижение цели и адекватное решение главных задач диссертационной работы.

---

История. - 1995. - №5. - С.19-29; Пушкарев Л.Н. Духовный мир русского крестьянина по пословицам XVII-XVIII веков. - М., 1994.

<sup>22</sup> См. напр.: Шетарди И.-Ж. Донесения французских посланников при русском дворе // Сборник Императорского Русского исторического общества. - СПб., 1893. - Т. 86. - С.224-226; Крылов А.Н. Мои воспоминания. - М.; Л., 1942; Державин Г.Р. Избранная проза. - М., 1984; Рюльер К.-К. История и анекдоты революции в России в 1762 г. // Россия XVIII в. глазами иностранцев. - Л., 1989. - С. 261-312; Сегюр Л.-Ф. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // Россия XVIII в. глазами иностранцев... С. 313-456; Жизнь и приключения Андрея Болотова описанные им для своих потомков. - М., 1993. - Т.3; См. также: Марасинова Е.Н. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века. (По материалам переписки). - М., 1999.

<sup>23</sup> См., напр.: Булавинское восстание (1707-1708). - М., 1935; Городские восстания в Московском государстве XVII в. - М.; Л., 1936; Крестьянская война под предводительством Степана Разина. - М., 1954-1976. - В 4-х т.; Восстание И. Болотникова. - М., 1959; Записки иностранцев о восстании Степана Разина. - Л., 1968; Иностранцы о восстании Степана Разина. - Л., 1975; Восстание в Москве 1682 года. - М., 1976; Смута в Московском государстве: Россия начала XVII столетия в записках современников. - М., 1989; Хроники Смутного времени. (История России и Дома Романовых в мемуарах современников) - М., 1998 и др.

В решении поставленных задач заключается **научная новизна** и ценность диссертации. Доказана принципиальная возможность комплексного социокультурного изучения русского бунта не таким, каким «он собственно был», но каким он разворачивался в умах людей. Предпринята попытка выявить объективный смысл русского бунта, который составлялся из множества субъективных смыслов его участников и современников. Установлены причинно-следственные взаимосвязи российской модернизации XVII-XVIII вв., кризиса традиционной идентичности, переходного состояния культуры и русского бунта. Выделены и проанализированы различные формы (на общественном, групповом и личностном уровне) поиска традиционной культурой своей идентичности. Показаны место и функции русского бунта в механизме культурной идентификации переходной эпохи от традиционализма к Новому времени. Выявлена и обоснована роль русского бунта как народной альтернативы проводимой «сверху» модернизации. Поэтому бунт был показан как беспощадный, но не бессмысленный. Показана и проанализирована смеховая природа русского бунта, основанная на культурно-символических оппозициях, на характерном для народной смеховой культуры «правиле изнанки» и продемонстрирован амбивалентный характер повстанческого смеха. Реконструированы и аргументированы по источникам основные структурные компоненты пугачевской версии «игры в царя», выявлены ее социокультурные функции. На многих примерах доказана и объяснена культурно-архаичная, символическая семантика казней бунтовщиками своих противников.

В плане **практической значимости** полученные выводы и положения диссертации могут использоваться исследователями в научной деятельности, при написании трудов по отечественной истории XVII-XVIII вв., в учебном процессе при подготовке курсов лекций по истории России, историографии отечественной истории, спецкурсов по истории русского бунта.

**Методологические принципы** актуализируют междисциплинарный подход к той совокупности знаний, на которую опирается данное исследование, к его методологическому «инструментария». Преимущества и достоинства междисциплинарного понимания истории видятся в том, что оно обеспечивает сущностное единство, принципиальную нераздельность субъективного и объективного компонента в историческом процессе.

Методологической и теоретической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных историков, культурологов, философов, социологов, политологов и др., посвященные изучению таких феноменов, как традиционное общество, модернизация, культура, пространство культуры, культурная идентичность, коллективное бессознательное, психическая установка и т.д. Большие перспективы сулит обращение к исторической антропологии, которая, по сути дела, является местом встречи различных аспектов истории и в силу этого не просто описывает отдельные события человеческого прошлого, но и пытается истолковать их логику, т.е. формирует герменевтический дискурс. Историческую антропологию интересует «человеческий резонанс» исторической эволюции, модели поведения, которые она порождает или изменяет; ставится задача синтеза исторической действительности в фокусе человеческого сознания (в «субъективной реальности»).

Для полноценного понимания социокультурных процессов, протекавших в России XVII-XVIII вв. в работе используются типологии и сущностные характеристики обществ, обоснованные в социологической литературе и принятые современным интеллектуальным сообществом. Речь идет о делении обществ на традиционные,

индустриальные и постиндустриальные. Стремление к понимающему проникновению в социокультурную историю России XVII-XVIII в. предполагает обращение к социологическим и историческим концепциям, которые акцентируют изучение таких фундаментальных общественных явлений, как традиция и модернизация. В результате их амбивалентный дуализм получает вполне диалектическое истолкование, хотя и экстраполируется на методологический уровень объективного в истории. Не менее важным представляется и оппонирующий уровень, ибо социокультурный смысл исторического процесса нам видится как совокупность множества субъективных смыслов его участников. Стремление к исследованию «ментальной оснастки» русских простецов, составлявших ядро повстанческой армии Е.И. Пугачева, неосуществимо без использования соответствующего цели познавательного «инструментария», в данном случае - психоисторических вариаций, из которых наиболее актуальными для нас являются концепция идентичности и учение о кризисе идентичности, понятие «коллективного бессознательного» и его архетипов, учение о психической установке. Анализ поведения «протестующей толпы» обращает внимание на большой массив психоаналитической литературы, рассматривающей механизмы взаимодействия вождей и масс. При этом интерпретации авторов «психологии толпы» явно акцентируют бессознательные механизмы коллективного поведения.<sup>24</sup>

Поскольку понимание социокультурной природы русского бунта с необходимостью ведет нас в мир бессознательных символов, полуразгаданных знаков и подразумеваемых смыслов, необходимость адекватного «прочтения» Пугачевщины становится доминантой обращения к различным культурологическим концепциям и построениям. В этом смысле весомым методологическим подспорьем диссертации стали исследования представителей семиотического направления.<sup>25</sup>

Различные теории «бессознательного» дополняются обращением к познавательным возможностям смеховых концепций культуры. «Погружение» русского бунта в стихию народного смеха обозначает новые грани его социокультурной природы. Изучение протестного поведения пугачевцев детерминировало использование важнейших положений игровых моделей культуры.<sup>26</sup>

Исследования историков культуры, этнографов и антропологов, в первую очередь изучавших потестарные общества, первобытные народы и эволюцию человеческого мышления от мифа к Логосу, теоретически фундировали возможность поиска смысловых параллелей протестных «жестов» русского бунта с мифо-ритуальным символизмом прошлого. Они позволили обратить внимание на устойчивость и

<sup>24</sup> См., напр.: Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. - М., 1996; Юнг К.-Г. Психология бессознательного. - М., 1994; Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки. - Тбилиси, 1961; Тард Г. Общественное мнение и толпа. - М., 1902; Лебон Г. Психология народов и масс. - СПб., 1995; Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. - М., 1996; Преступная толпа. - М., 1998.

<sup>25</sup> См., напр.: Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера - история. - М., 1996; Успенский Б.А. Избр. труды. Т.1: Семиотика истории. Семиотика культуры. - М., 1996.

<sup>26</sup> См., напр.: Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. - М., 1981.; Лихачев Д.С., Панченко А.М., Поньрко Н.В. Смех в Древней Руси. - Л., 1984; Даркевич В.П. Народная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве IX-XVI вв. - М., 1988; Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. - М., 1990; Карасев Л.В. Парадокс о смехе // Квинтэссенция: философский альманах. - М., 1990. - С.341-368; Берн Э. Игры, в которые играют люди (Психология человеческих взаимоотношений). Люди, которые играют в игры (Психология человеческой судьбы). - СПб., 1992; Хейзинга Й. Homo Ludens: Статьи по истории культуры. - М., 1997.

жизненность многих архаических феноменов в мышлении и поведении людей традиционной эпохи вообще и русских бунтарей в частности.<sup>27</sup>

Представляется, что выстроенная в диссертации модель междисциплинарной методологии, едва ли идеальна, но вполне комплементарна и позволяет адекватно решить поставленные в работе задачи. Предложенным методологиям соответствуют также методы исторической ретроспекции и сравнительно-исторического анализа. Они дополняются синхронистическим и историко-биографическим подходами. Основополагающими принципами междисциплинарного изучения русского бунта следует считать историзм и научную объективность. Историзм исследования проявляется в том, что автор проводит идею сопряжения всех трех временных модальностей: прошлого – настоящего – будущего, демонстрируя тем самым некое чувство истории как связи времен, что позволяет, например, архаизируя природу русского бунта, постулировать вопрос о его возможности не только в наше время, но и в будущем. Историзм заключается в умении обнаружить в изучаемом каузальные смысловые параллели и установить их конкретно-исторические и социокультурные проекции. Объективность исследования проявляется в том, что его результаты вполне репрезентативны и могут быть верифицируемы на материалах не только Пугачевщины, но и других русских бунтов.

**Структура диссертации.** Работа состоит из введения, пяти глав, разделенных на три параграфа каждая, заключения и списка использованных источников и литературы.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

**Во введении** обоснована актуальность темы, определены объект и предмет, сформулированы цель и задачи исследования, осуществлен анализ источниковой базы диссертации, номинированы приемы и методы работы с источниками, а также рассмотрена степень изученности темы в научной литературе.

**В первой главе - «Методология исследования русского бунта»** - показано, как конструируется междисциплинарная методология, способная помочь полноценному изучению поставленных в работе исследовательских задач, т.е. выявлению особенностей «языка» протестующей толпы. Русский бунт представлен как единый организм или система. Однако это система иерархизированная. Ее отдельные подсистемы и элементы рассматриваются двояко: как самостоятельные образования и как функциональные единицы, элементы целого. При этом культура выступает, с одной стороны, как самоценная система, а с другой - как функциональное пространство бунта, работающее на его развитие. Реконструкция русского бунта в социокультурном пространстве отечественной истории с неизбежностью требует ориентации на изучение не отдельного человека, а его связей с социальными, политическими и культурными процессами в обществе. На передний план выдвигается человек в его единстве с окружающим миром, что требует не только новых теоретических подходов к изучению человеческого фактора в истории, но и, соответственно, новых методов исследования. Их обоснованию посвящен первый параграф главы ***«Методологический синтез как основа междисциплинарного изучения русского бунта»***. Здесь предлагается познавательная модель, позволяющая не только объяснять, но и понимать изучаемую эпоху или явление, «вжиться» в изучаемый мир, взглянуть на Пугачевщину «изнутри»,

<sup>27</sup> См., напр.: Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. - М., 1980; Тайлор Э. Первобытная культура. - М., 1989; Токарев С.А. Ранние формы религии. - М., 1990; Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. - М., 1994.

глазами ее современников, понять и проанализировать их изменчивые восприятия, переживания, поведение людей, составляющих и наблюдающих протестующую толпу, влияние на них общественных структур и процессов, их понимание этих структур и процессов. Номинируется субъективный компонент исторического процесса и предпринимается попытка показать, «каким именно образом субъективные представления, мысли, способности, интенции индивидов включаются и действуют в пространстве возможностей, ограниченном объективными, созданными предшествовавшей культурной практикой коллективными структурами, испытывая на себе их постоянное воздействие». Таким образом, потребности исторического познания русского бунта предполагают использование достижений различных наук о человеке, развитие компаративной историографии. Поэтому основой междисциплинарного исследования должен стать методологический синтез.

Во втором параграфе *«Понятие социокультурного пространства сквозь призму его дефиниций»* рассматриваются основные подходы науки к определению понятия пространства, акцентируются понятия культурного и социокультурного пространства, показано их соотношение с понятием культуры, проанализированы и систематизированы многочисленные подходы к ее дефинициям. Можно сказать, что пространство - это свойство реальности, выражающееся в ее протяженности, структурности, сосуществовании и взаимодействии элементов, это и важнейшая категория науки, обладающая значительным методологическим и эвристическим потенциалом, выступающая в качестве сквозного интегративного начала по отношению к другим культурологическим понятиям. Наиболее устоявшиеся взгляды на определение пространства - рассмотрение его в качестве формы бытия материи, важнейшего атрибута, характеризующего порядок расположения, сосуществование материальных объектов. Это основная категория, посредством которой может познаваться культурный процесс. В нем воплощена архаичная память культуры. Специфика восприятия мира тем или иным этносом, той или иной культурой, той или иной цивилизацией проявляется, прежде всего, в особенностях восприятия пространства и времени. Однако историческая наука имеет дело с представлениями о таком пространстве, которое «прочитывается человеком». Данный подход связан с представлением о пространстве как важном компоненте человеческого сознания - социальное пространство. Хотя каждый социум структурирует и оценивает пространство по-своему, есть и универсальные способы категоризации пространственных элементов, основанные на общеизвестных семантических оппозициях: верх-низ, близкий-далекий, перед-зад и т.п. Расширением этого круга данных явился опыт общения человека с другими людьми, контакт с разноудаленными объектами. Отсюда актуализация таких понятий, как близкий-далекий, центр-периферия, зоны стыков и границ. Универсальным для разных общностей является и восприятие пространства как качественно неоднородного, оцениваемого в терминах свой-чужой, хороший-плохой, опасный-безопасный. Следует иметь в виду существование индивидуального социального пространства, поскольку оно, как объективно необходимая форма сосуществования людей, может раскрываться в двух уровнях - не только в общественном, но и личном. Отличие социального пространства от других пространственных форм заключается в том, что своим возникновением и развитием оно всецело связано с деятельностью социального субъекта. Однако понимающая парадигма русского бунта обнажает познавательную ограниченность понятия социального пространства. Дело в том, что в масштабе русского бунта социальное пространство приобретало культурную насыщенность. Оно становится культурным, или, как часто его называют, социокультурным пространством.



Существуя как мысленный образ, социокультурное пространство имеет свои единицы измерения, хотя они не носят абсолютного характера, также как само пространство не располагает четко очерченными границами. Можно сказать, что субъектом социокультурного пространства является человек, способный одухотворять себя и окружающий мир, сообщать ему искусственный облик, вносить в него культурную значимость. В нем вырабатываются механизмы и структурные элементы, обеспечивающие условия для воспроизводства культуры. Социокультурное пространство имеет также протяженность во времени. Оно обладает динамичностью, способностью к саморазвитию, изменению масштабов, объема и структуры, пространственных границ. Его сущностную основу составляет определенная система ценностей, это пространство определенных образов. Оно предстает в аксиологическом контексте, как система ценностей в определенных временных и пространственных параметрах, как умонастроения, ментальность, общественные институты, сохраняющие и обеспечивающие функционирование ценностей. Наиболее близко к социокультурному пространству находится категория культуры. Одно невозможно понять без другого. Культура существует в пространстве – она сама есть пространство, и различие данных понятий часто зависит от аспекта и характера научного анализа. Использование в научном лексиконе категории социокультурного пространства позволяет отчасти разрядить напряженность культурно-цивилизационной дихотомии. Поэтому, не настаивая на какой-либо конкретной концепции культуры, но, рассматривая ее с аксиологических позиций, ключевым для адекватного «измерения» русского бунта считаем понятие социокультурного пространства, которое является для нас не целью, а средством познания.

В третьем параграфе *«Сакрализованное пространство традиционной культуры в переходный период: некоторые аспекты проблемы»* исследуются две группы проблем. Одна из них связана с выявлением сущностных черт пространства традиционной культуры как «месторазвития» русского бунта. Вторая – с определением понятия переходного периода культуры, тех трансформаций, которые могут происходить с традиционной культурой в процессе ее перехода к Новому времени. Взяв на вооружение концепцию «долгого средневековья», квалифицируем российское общество XVIII века как традиционное, для которого характерны замедленные темпы социальных изменений, цивилизационные формы существенно не менялись иногда на протяжении столетий. В культуре, даже при оформлении ценностно-идеального компонента, продолжала доминировать нормативная сторона, приоритет в отношениях отдавался традициям, канонизированным стилям мышления и стереотипным нормам поведения. Пространство традиционной культуры было насыщено историческим временем. Оно было мифологизировано и пронизано пристрастием к прошлому, на уровне массовой ментальности наполнялось особой сакральной семантикой, воплощенной в обрядово-ритуальной символической форме, где ритуалы и обряды оказывались символическим языком сакрализованного текста культуры. На Руси восприятие пространства всегда составляло важную часть индивидуального и национального мышления, входило в состав ведущих характеристик русского менталитета. Обращение к пространственной проблематике закладывает определенную основу для научной рефлексии о социокультурном измерении русского бунта, который разворачивался в условиях специфического пространства традиционной культуры, непохожего на рационализированный мир современности. Бунт постоянно осуществлял переход от конкретных ощущений реального мира в его пространственных измерениях к метафизическим конструкциям, совмещая, таким образом, все виды пространства в

единое целое и выводя на первый план пространство социокультурное. Так образуются различные социокультурные проекции русского бунта, и посреди его пределов разыгрываются практически все пространственные метафоры, раскрывающие сложнейшие отношения человека с миром, характеризующие также и мир в целом. Именно к душе человека, к его ментальности, интерпретируемым смыслам сводимы все измерения социокультурного пространства. Они и существуют, кажется, только для того, чтобы его конкретизировать, представить как пространство семантизированное и сакрализованное. Наличие бескрайних просторов, недостаточные географические познания служили питательной почвой для складывания представлений, что где-то на краю земли, за пределами известной и освоенной территории расположена некая преисполненная святости страна, где все устроено справедливо, по правде. Стремление к святости, разрыв с грехом мыслились как пространственное перемещение, подразумевали отказ от оседлой жизни и уход. Отсюда столь большое значение символа пути, обозначающего движение от сакрального центра пространства к периферии или в противоположном направлении. Поэтому географическое путешествие рассматривалось как перемещение по «карте» религиозно-моральных систем: те или иные страны мыслились как еретические, поганые или святые. Границы пространства были четко определены не только в вертикальной проекции, но и в символической перспективе горизонтальной направленности. Оно считалось священным, находящимся под защитой высших сил. Выход за его пределы - культурное табу, знаменующий разрыв связей с охранительными силами и авторитетом предков, культурную экскоммуникацию. Вместе с тем понятие границы связано с идеей ее пересечения, с движением, направленным на преодоление рубежа, с возможностью выхода за пределы ограниченного пространства. Поскольку сила сакрального считалась ослабевающей к периферии, ее освоение рассматривалось как приобщение новых областей к освоенному совместному пространству путем его сакрализации. Тем самым «чужое» пространство становилось «своим», т.е. включалось в состав последнего. Связи между частями пространства оказывались не функциональными, а символическими. На протяжении веков Россия обладала своим уникальным опытом организации социокультурного пространства, которое долгое время оставалось практически неизменным в своих базовых ценностных ориентациях. Его эмоциональный фон поддерживал свою равновесную качественность, создавая ощущение незыблемости, вечности существующих порядков. Новый, заявленный модернизацией, уровень общения с внешним миром менял «картину мира» русского простеца, переворачивал систему его ценностей и ставил под сомнение культурную идентичность общества. Стабильность и традиционность российского ментального бытия отныне сочетались с переходными процессами в сфере организации общества, которые, безусловно, были стимулированы интенсивной интервенцией политических, идеологических и культурных инноваций Западной Европы. Такие переходные периоды считаются важнейшими этапами в истории культуры. В них не только доживают остатки старого и взрастают ростки нового, но и с предельной силой обобщаются фундаментальные основы уходящей культуры и совершаются далеко опережающие свое время прорывы в будущее. Степень эмоциональной насыщенности культурных локусов не могла быть одинаковой на всем протяжении переходного периода, индикатор ментального напряжения общества должен был показывать разные величины, например, в начале, середине и конце перехода. Инновационные формы социокультурной организации общества, воспринимавшиеся на уровне массовой психологии как иррациональные и неизбежно сопряженные с потусторонним миром, трансформировали общественную ментальность по своим канонам, провоцировали ее

страхи, отчаяние и эсхатологические ожидания. Модернизация добавляла «топлива» в пожар, охвативший все здание традиционализма. На этом фоне из «сполохов огня» явственно проступали контуры грозного русского бунта. Традиционная культура бралась за свое надежное оружие.

**Вторая глава** носит название **«Русский бунт в механизме культурной идентификации переходной эпохи»**. В ней показано, каким образом процессы модернизации, осуществляемые особенно интенсивно со времени Петровских реформ, воздействовали на традиционный уклад жизни, на привычный мир русского простеца. Рассмотрены последствия инновационных влияний на традиционную идентичность. О том, как проявлялось взаимодействие традиций и инноваций, как воспринимался этот процесс простонародьем, говорится в первом параграфе главы ***«Модернизация России и кризис традиционной идентичности»***. Если в XVII в. направления будущих реформ еще только закладывались, то вскоре с нерешительностью было покончено, и страна стала ареной масштабной и многомерной модернизации, в духе европеизации, в необходимости которой для России историки практически не сомневаются. Их оценка означает, однако, «взгляд сверху», с высоты высших эшелонов власти. Они декларируют необходимость и неизбежность модернизации с позиций интересов государства, может быть - страны. Но непросвещенный русский народ, к сожалению, не понимал этих «высоких материй», а потому активно отвечал на модернизацию протестом. Мощным инструментом модернизации являлось государственное вмешательство, что вело к усилению централизации власти, бюрократизации всей системы управления, придавало модернизации особую культурную семантику. В условиях системного кризиса компенсаторские механизмы мирного снятия социального напряжения еще не сформировались, поэтому осуществлять модернизацию приходилось насильно, через навязывание новых культурных установок, почва для которых не была подготовлена органичным развитием российской истории. Дело в том, что в основе новоевропейской культуры лежали принципы рационализма и секуляризации. Но для их усвоения необходимо было освободить сознание русских простецов из религиозных пут. На смену религии должна была прийти наука. Русский же народ в массе своей был неучен, достижения науки обошли его стороной. Религия по-прежнему оставалась психологической доминантой народной «картины мира». Отсюда и отчаянное цепляние за традицию, обычай, норму, ритуал, религиозную санкцию в условиях, когда привычные ценности подвергались инновационному прессингу. Под знаком кризиса традиционной идентичности прошел весь российский XVIII век. Этот кризис во многом был спровоцирован не столько внутренней беспомощностью традиционной системы, сколько инновациями, шедшими из Европы и становившимися «руководством к действию» для правящей элиты. Из привычного социального равновесия народ был выбит такими символически-кощунственными нововведениями Петра, как пресловутое бритье бород, ношение европейской одежды, новый календарь, рекрутчина, титулатура монарха, подушная подать и т.п. Их результатом стала оценка мира господ, как мира смехового, т.е. перевернутого. Нет ничего удивительного, что эти обстоятельства провоцировали социальный протест, возросло количество политических процессов по делам о преступлениях против государственной власти. В дальнейшем подобные представления только усиливались, чему в немалой степени способствовал социально-психологический фон частых дворцовых переворотов, когда поочередно менявшие друг друга монархи становились символами социокультурного неблагополучия. Недовольство вызывало затянувшееся «женское царство» и основания для него давали сами царствующие «дамы». Длительное «царство женщин» и детей, породило

множество временщиков и превратило фаворитизм в характерное явление жизни государства, ставшее способом приобщения дворянства к власти. Социально-психологические стереотипы народного монархизма позволяли прочесть эту ситуацию на привычном языке: всеми делами в России заправляют дворяне, из-за этого простым людям живется плохо. Поэтому народные «пасквили» середины XVIII века обрушиваются на дворян сокрушительную критику, угрожая им Страшным судом. Психологическое напряжение ментальной атмосферы, вызываемое традиционно понимаемой символикой поведения правящих кругов, ощущалось повсеместно и повседневно. Действия господ не могли не шокировать народ своей святотатственной откровенностью. Травмировали народную психологию бесконечные балы и маскарады высшего света, их видимая «бесовская» форма. Все это воспринималось простонародьем как узнаваемое наступление последних времен. Элитарная культура, утверждавшая себя через антиповедение, несомненно, должна была рассматриваться народом сквозь смеховую «призму». В результате, кризис традиционной идентичности, разрушая авторитет, способствовал нарастанию агрессивного страха по отношению к власти. В такой ситуации Пугачевщина стала народной реакцией на построенный господами мир «навыворот».

Во втором параграфе *«Социокультурный смысл «бессмысленного» русского бунта»* рассмотрены общественные механизмы культурной идентификации, задействованные традиционализмом в переходный период к Новому времени. На социокультурном пространстве русской истории с помощью бунта народ пытался построить идеальную модель «православного царства». Из тупика системного кризиса традиционная культура искала спасение в самой себе, используя различные защитные механизмы, важнейшим из которых являлся бунт, призванный выполнить специфические социокультурные задачи. Подобные ситуации в синергетике называются точками бифуркации, когда дальнейшее развитие осуществляется как реализация одной из нескольких равновероятных альтернатив. Народная альтернатива реализовывала себя в бунтах, которые, являясь апологией традиционализма, корректировали модернизацию. Всеобщее негодование, вызванное политическими, социальными, экономическими и другими симптомами культурного сдвига, готовило почву для проявления на небосклоне российской истории и лидеров, и возглавленных ими движений народного протеста. Через бунт традиционная культура пыталась транслировать свои ценности в будущее, с его помощью пыталась реанимировать рвущуюся связь времен. В этой эмоциональной атмосфере бунты становились своего рода лекарством от коллективного страха, психологической же его основой была утрата чувства безопасности, которая скорее переживалась, чем осознавалась. Все это дополнялось эмоциональным негодованием из-за ущемления привычного образа жизни. Иначе говоря, ментальным основанием протеста становилась культурная традиция, но лишь до определенной степени. Следует помнить, что месторазвитием русского бунта было не просто сакрализованное пространство традиционной культуры, но подвергшееся мощному натиску инновационных сил. И чем дальше заходил процесс «порабощения» России достижениями европейской цивилизации, тем большему давлению подвергались традиционные ментальные стереотипы. Объективно тяготев к традициям, коллективное воображение не успевало приспособливаться к переменам, безнадежно отставало от менявшейся объективной реальности, а потому старалось цепко держаться за прошлое. Традиции и инновации столкнулись в смертельном поединке. В ходе конфликта традиционная культура актуализировала наиболее архаичные слои народного менталитета, активно обращалась к архетипам коллективного бессознательного. Бунт

манифестировал свой социокультурный смысл, апологизируя архаику. Через массовую психологию проявлялся в ходе бунта культурно-символический код традиционного текста. При анализе и сравнении исторических альтернатив оценочные критерии, типа «лучше»-«хуже», «более развитый»-«менее развитый» и т.п. с очевидностью неуместны. Однако именно их чаще всего и можно встретить в научных исследованиях. При всей условности сослагательной реконструкции прошлого, вероятность народной альтернативы, анонсированной бунтом, сегодня начинает осознаваться как вполне реальная. Другое дело, что ее перспективы считаются менее плодотворными, и, более того, регрессивными. Критические маркировки русского бунта опираются на прочный фундамент европейских прогрессистских учений. Понять такую позицию несложно. Она а priori признает благодетельность для России общеевропейского пути, а, значит, неизбежность и прогрессивность модернизации. Поскольку бунт препятствовал прогрессу, его превратили в устрашающий жупел. Таким он виделся уже российской элите XVIII в., зараженной «вирусом западнизма». Ее позиция повлияла на формирование историографического стереотипа. Но подобный взгляд - несомненное отступление от требований историзма: исследовать явление в системе категорий изучаемой эпохи. На языке же модернизации (европеизации) бунт не прочитывается. Он всегда будет казаться нелепицей, случайностью, «бессмысленным». Стремящийся охранить ценности традиционной культуры, возвращенные опытом прошлых поколений, апробированные ходом истории, русский бунт должен изучаться на родном для себя языке. Обращаясь к историографическому наследию, встречаем утверждения об отсутствии каких-либо традиций отечественного бунтарства, поскольку бунт всегда стихийен. Стихия прочно отождествилась с понятиями хаоса, насилия и разрушения. Но такое мнение не вполне адекватно изучаемому феномену. Стихийность бунта лишь в том, что он каждый раз кажется неожиданным. Но так только кажется. Модернизация, апеллируя к реформам и навязывая обществу новые ценности, открывает предохранительный клапан традиционализма, выпуская наружу русский бунт. И так каждый раз. В таком смысле явление бунта следует признать закономерным для типологически близких ситуаций переходных эпох. Контрреформы же, как часть модернизации, – это время синтеза культурных ценностей, когда инновации незаметно проникают в тело традиционной культуры и осмысливаются как наследственные. В предлагаемой познавательной проекции закономерным выглядит не только происхождение, но также и содержание русского бунта. Например, стихийные формы повстанческих объединений должны атрибутироваться в категориях не стихийности, а традиционности. Стихийны они исключительно в том смысле, что являются продуктом исторического опыта. Но именно опыт, как известно, считается критерием истины, уроками истории пытается измерять человечество свой путь развития. Таким образом, русский бунт - порождение системного кризиса, продукт традиционной культуры, находящейся в поиске идентичности, это ее защитный механизм и транслятор традиционных ценностей.

В третьем параграфе *«Кризис личной идентичности и харизма Е.И. Пугачева в историко-биографическом контексте»* на примере Е.И. Пугачева показан личностный уровень кризиса традиционной идентичности. В историко-биографическом ключе анализируется процесс формирования пугачевской харизмы, выявляются и обосновываются социокультурные факторы, которые этому способствовали. Всеобщее эмоциональное брожение в стране грозило в любую минуту выплеснуться на поверхность общественной жизни мутной пеной грозного русского бунта. Недоставало предводителя, хотя почва для его появления уже готовилась. Переходная эпоха

неизбежно должна была породить и соответствующую времени переходную личность, могущую реализовать назревшую историческую необходимость, но сделать это по-своему, наложив на нее существенный личностный отпечаток. Традиционализм пытался найти индивидуальные формы своего спасения от угрозы тотального распада привычных структур повседневности. Необходим был вождь, который не просто смог бы встать во главе общественного процесса, но, слившись с массами, выразить их интересы и повести за собой. Таким человеком оказался Пугачев, и этот выбор истории нельзя назвать случайным. Для этого имелись весомые предпосылки. В нем прочно укоренились базисные черты православного человека, чуткая боль к народным страданиям, осознание необходимости изменить страну, вернуть ее в традиционное русло, готовность использовать новые средства достижения цели, завуалировав их под привычной «оболочкой». Не последнюю роль играло и наличие высокой, как правило, не соответствовавшей реальному статусу, самооценки. На «входе» мы застаем Пугачева простым донским казаком, несомненно, привыкавшим к соответствующим стереотипам и образу жизни. Но выработанные вековым опытом каноны казачьего мышления и поведения уже не соответствовали императивам переходной эпохи, с неизбежностью подвергавшей их эрозии, что становилось препятствием для возникновения четких фиксированных установок, органично вписанных в пространство традиционной культуры. У Пугачева с неизбежностью должны были формироваться диффузные установки, как бессознательная психическая реакция на привычные, но вдруг изменившиеся реалии, которые становилось невозможно идентифицировать. Все это способствовало тому, что жизнь Пугачева изобиловала многочисленными метаморфозами, несвойственными обычному рядовому простецу, принадлежащему традиционному обществу. Формирование его харизмы происходило на протяжении всей жизни. Уже в детстве он проявлял несомненное честолюбие, стремился обратить на себя внимание окружающих и стать лидером в реальной жизни, в отношениях с другими людьми. Вполне вероятно, что фольклорный образ его знаменитого земляка Разина на долгие годы стал ориентиром, по которому Пугачев «измерял» каждый свой шаг. Эти обстоятельства можно рассматривать как симптомы генезиса его высокой самооценки. После смерти отца, он сразу повзрослел, стал мужчиной, превратился в самостоятельного казака, в Хозяина, женился, оказавшись главой семьи. Вскоре был призван на службу и за храбрость произведен в хорунжие. Начиналась типичная для казака карьера. Дальнейшая жизнь Пугачева, казалось, была предопределена традицией. Участие в заграничных походах расширило его кругозор, обогатило немалым жизненным опытом. Вернувшись домой со славой, он, несомненно, заслужил бы почет, став уважаемым на Дону казаком, к мнению которого все внимательно прислушиваются. Этим могли быть удовлетворены его лидерские амбиции, а личное счастье обретено в семейном благополучии, со временем обзавелся бы имуществом. Так могло быть прежде, но этого не произошло сейчас. Смятение эпохи отразилось и на свойствах его характера. Событие, которое, возможно, ускорило кризис личной идентичности, произошло во время Семилетней войны. По приказу командира его подвергли телесному наказанию. Произошло столкновение двух установок – представлений Пугачева о самом себе, его ожиданий, честолюбивых помыслов с суровой реальностью, мало совпадавшей с высокой самооценкой. Это наказание на языке традиционной культуры могло быть «прочитано» как символическое понижение, и даже унижение «высокого», тем более что на теле остались следы, заметные еще накануне его объявления на Яике. Согласно психоаналитическим подходам, бессознательное сохраняет подобного рода опыт, детерминируя эмоциональную

реакцию индивидов на окружающий мир. Очевидно, что полученная Пугачевым психологическая травма не исчезла бесследно, а жестко определила всю его дальнейшую жизнь, породив страх перед властью, может быть даже панический, но вместе с тем и острую, болезненную жажду власти. В то время как эпоха настаивала на закреплении за человеком определенного ролевого статуса, Пугачеву неоднократно приходилось его менять. За свою жизнь он успел сыграть несколько «ролей»: начав с рядового казака и побывав казачьим сотником, беглецом, «старообрядцем», «купцом», в конце концов, решил примерить на себя «наряд» императора. В контексте традиций такое поведение манифестировало разрыв с прошлым, со священным миром усопших родственников, с сакральным локусом. Решиться на такой шаг мог далеко не каждый. Пугачев был одним из немногих. Будто бы нарочитое пренебрежение ментальными «условностями» традиций, словно в зеркале отражало его диффузные психические установки. То, что казалось кощунством для старины, становилось возможным сегодня, когда под натиском рационализированных инноваций мистическое вето традиционной культуры ощущалось уже не так строго. Вся беспокойная жизнь готовила его к святотатственному апофеозу - вживанию в сакральный образ императора Петра III, в котором высокая самооценка нашла новый подходящий ориентир. Там, где обычный простолудин прошлого должен был остановиться в благоговейном трепете, Пугачев, нарушая культурное табу, шел дальше, «маскируясь» в традиционные «одежки». Жребий был брошен, высокая самооценка потребовала адекватных шагов для ее реализации, он объявил себя «третьим императором». В ответ на появление «истинного» царя в сентябре 1773 г. на Яике вспыхивает Пугачевский бунт.

**В третьей главе** диссертационного исследования – **«Архетипы и сюжеты русского самозванчества»** - предпринят социокультурный анализ самозванчества в контексте российского исторического процесса и рассмотрены его основные сюжетные линии на фоне протестной истории страны. Первый параграф ***«Самозванные цари и царевичи в социокультурной ретроспективе русского бунта (до середины XVIII в.)»*** посвящен изучению народных монархических представлений, выделяются и показываются их наиболее яркие проекции, анализируются основные типы самозванцев, исследуется народная рефлексия на их появление и поведение. Подчеркивается, что народный монархизм изначально формировался в силу общих для всех архаических культур факторов, но со временем начинал обрывать специфическими национальными чертами, принимал характер ритуально-символической определенности и оформленности. В различных протестных ситуациях эти базовые установки реализовывали себя по-разному. В одних случаях восставшие ограничивались вербальным монархизмом, продуцированием и бытованием слухов, например, о «милостивых» указах царя, которые якобы изданы в интересах народа, но утаиваются изменниками-боярами. В других случаях вербальная форма протеста дополнялась появлением разного рода самозванцев. Важнейшей причиной самозванческого «бума» XVII-XVIII вв. можно считать затянувшийся по времени процесс перехода России к индустриальной цивилизации, провоцировавший кризис традиционной идентичности. Мир наполнялся тревогами, смутными ожиданиями конца света, поскольку новые формы поведения, пробивавшие себе дорогу под влиянием эрозии традиционного уклада, не вписывались в устоявшуюся «картину мира». Душа простеца, преисполнявшаяся беспокойством, не могла найти ориентира. К тому же, переход русской культуры от Старого общества к Новому времени сопровождался частыми династическими кризисами, которые нарушали традиционный порядок престолонаследия и психологически прессинговали стереотипы народного монархизма. Все это могло восприниматься как непрерывная

череда правления «ложных» царей или овладевших трон «изменников»-бояр. Жизненные тяготы, несправедливости общественного устройства, и в целом нарушение старины находили, таким образом, свое удовлетворительное объяснение в ментальном созерцании простецов. Поэтому нередко, когда простолюдины разочаровывались в правящих царях или считали незаконным их вступление на престол, монархические запросы провоцировали объявление самозванцев. Вплоть до знаменитого разбойника Кудеяра с данным феноменом русские люди могли быть знакомы только понаслышке. И лишь когда поколебалось относительное единство традиционного сознания и сформировались специфические установки восприятия царской власти, самозванцы «посыпались» словно из рога изобилия, что позволяет предполагать наличие различных самозванческих типов. Фольклорной культурой были выработаны достаточно четкие критерии различения «истинных» и «ложных» царей, определены основные каноны их поведения и способы аргументации. В соответствии с ними претендент на имя «истинного» царя должен быть законным государем, каковым считался только православный и благочестивый царь. Он не может допускать панибратских отношений с простонародьем. Ему полагается быть грамотным, рассказывать о намерениях в случае возвращения на престол, об отношениях к членам царствующего дома и к своей родне. Царь-батюшка - защитник социальных низов, борец против «изменников»-бояр и воевод, которому постоянно сопутствует успех и т.п. Фактическим аналогом такого государя можно считать идеализированный народной утопией образ Ивана Грозного. К тому же, «истинный» царь – фигура гармоничная, в нем все должно соответствовать высокому происхождению и предназначению: внешний вид, внутренние качества, поведение. Его появлению предшествовало возникновение легенд о возвращающихся избавителях, которые требовалось не просто использовать в своих интересах, но и поддерживать их существование. Только убедив народ в царском происхождении, можно было рассчитывать на массовую поддержку. Поэтому немногие «успешные» самозванцы, в отличие от большинства своих «коллег-неудачников», были харизматическими лидерами. Их влияние связано с особым характером веры масс в незаурядные качества «истинных» царей-самозванцев, обладание ими даром пророчества, магическими способностями и т.п. Вождь-самозванец должен был убедить всех в своих возможностях дать «правильные» ответы на волновавшие массы вопросы. Обладающий харизмой самозванец в сфере притязаний отвергал прошлое и выступал в роли специфически революционной силы. Однако массовая психология консервативна и тяготеет к традиции, поэтому самозванческая харизма утрачивала характер переходного явления и мимикрировала в традиционных ментальных формах. Если же мотивы мифологии народного монархизма не учитывались самозванцами, это неминуемо вело к отказу от поддержки, обрекавшему самозванческие интриги на провал. Трагедия самозванцев заключалась в том, что они должны были доказывать свое «царское» происхождение ежедневно. Вера народа не могла долго сохраняться, не имея реального подтверждения. Поэтому самозванцы «вынуждались» изыскивать все возможные средства, чтобы рассеивать реальные и потенциальные сомнения. Неспособность самозванцев выдавать «на горá» стабильно высокие результаты компрометировала их в глазах своих «верноподданных», вызвала разочарование и ставила под сомнение их мистически-пророческие способности. Самозванцам все чаще и все больше отказывали в доверии вчерашние поклонники, знак чрезвычайной значимости и отметина исключительности постепенно теряли свой ореол в глазах бунтарей, и сегодняшние кумиры, оказавшись неудачниками, уже завтра подвергались осмеянию и освистыванию, объявлялись идолами. Нерешенность же вызывавших коллективную



тревогу проблем поддерживала благоприятные условия для возобновления самозванчества, которое повторялось неоднократно на протяжении XVII-XVIII вв.

Во втором параграфе *«Имя-образ императора Петра III в социокультурной истории русского самозванчества»* рассмотрены социокультурные факторы самозванческих интриг до Пугачевского бунта, связанных с именем императора Петра III. Выясняется привлекательность этого имени для народных масс в России. Подчеркивается, что не всегда идеализация того или иного монарха напрямую становилась отражением его реальных качеств или действий. Речь могла идти не о точности зеркального отражения, а о символе монархической утопии. В этой связи подчеркнем, что имя «Петр III» не было для народа простой эмблемой или этикеткой. Оно рассматривалось как существенная часть личности. Имеется в виду не столько рационально закреплённый и логически выверенный, сколько улавливаемый сугубо интуитивно образ. Поскольку каждый человек наделен именем как своеобразной семантической аурой, имя Петра III провоцировало целый комплекс чувств, эмоций, настроений, надежд и представлений, связанных с народными монархическими ожиданиями, наполнялось особой сакральной силой, постепенно обрастало харизматическими чертами. В контексте монархической мифологии Петр III предстал как мученик за благо России и народа, сочетающий в себе мудрость и благочестие. И не столь уж было важно для утопических чаяний, насколько соответствовали друг другу реальный и идеальный образы. Кроме того, на идеальный образ Петра III наслаивался харизматический ореол правящей династии, подкреплявшийся признанием Божественного характера царской власти, ее сакрального статуса. Однако российская модернизация целенаправленно конструировала новый имидж власти, которая рядилась в иные «одежды». Инновации символически воспринимались, как покушение на сакральную сущность верховной власти, т.е. целенаправленная десакрализация. Подобные «кошуну» со страшной силой вторгались в традиционную ментальность, разрушая ее целостность. Они приобретали в глазах народа апокалипсический смысл, актуализируя эсхатологические настроения. Тем, кто примерял царский венец, было отказано в законности, а значит, в богоустановленности. Может быть поэтому, несмотря на все усилия Екатерины II, ее имидж «премудрой матери отечества» в значительной мере оставался уделом официальной пропаганды и заказных стихов. Выводы, которые делало для себя традиционное мышление, фундированное фольклорным опытом, возможно, и не означали, что реальный Петр III был «лучше» Екатерины II. Но то, что она была «хуже», простонародье ощущало все более и более. Дело в том, что при нарушении традиционного порядка наследования престола монарх, который «реально занимает царский трон, может в сущности сам трактоваться как самозванец». С таким нарушением и пришлось столкнуться низам с приходом к власти Екатерины II. Это был серьезный повод для монархических рефлексий. Не стоит удивляться, что доносившиеся до простонародья обрывки сведений о перевороте 1762 г. и убийстве Петра III трансформировались в многочисленные слухи о его чудесном спасении. История знает целую вереницу претендентов на имя Петра III. Среди заявивших свои претензии до Пугачевского бунта, можно назвать Николая Колченко, Антона Асланбекова, Гаврилу Кремнева и Петра Чернышева, Николая Кретова, Рябова и, особенно, Федота Богомолова - самого «авторитетного» «Петра Федоровича», не считая Е.И. Пугачева. Кроме того, находились и «ближайшие сподвижники» якобы живого Петра III, которые действовали от его имени или использовали его в своих интересах. Степень нашей осведомленности об этих самозванцах различна. Не вызывает сомнения другое: фольклорной монархической модели, олицетворением которой они выступали,

самозванцы были обязаны подчинять свои помыслы и повседневное поведение. Это обстоятельство придавало самозванчеству род импровизированного театрализованного действия, в котором каждый участник играл свою роль, а общий сценарий определялся традицией. В такой ипостаси самозванчество актуализировало свои социокультурные связи с миром народной смеховой культуры, в том числе, с так называемой «игрой в царя». Встреча с «истинным» царем порождала в народной душе не только естественный суеверный страх, но и связанную с ним радостную готовность повиноваться. Широта замыслов и смелость обещаний предназначены здесь внушать благоговейный трепет перед могуществом «государя», способного на столь грандиозную перестройку «неправедного» царства господ. В сгущавшейся атмосфере святотатственной беспросветности народ отчаянно ждал, когда же сверкнет «луч света в темном царстве», наполненном коллективными фобиями, раздражающей сменой настроений и колебаниями психики масс, легко впадавших в панику. Подобные мессианские ожидания давали самозванцам шанс на отклик страстно желавших реанимации благостной старины престолюдинов. Но в итоге «гора родила мышь». Отдельным самозванцам удалось приобрести 200-300 сторонников, другие не добились даже такого успеха. Как показывают исследования, народный монархизм был не базой, а препятствием для поддержки заведомых самозванцев, все должны были пребывать в уверенности, что служат «подлинному» государю. В противном случае происходил сбой: в традиционной «картине мира» самозванцы - это актеры, мимы, скоморохи. Их действия совершаются при попустительстве нечистой силы. Если устами «истинного» царя - говорит Бог, то устами самозванцев - Сатана. Они переигрывали, может быть, еще и потому, что плохо знали свою роль, недостаточно выучили фольклорные и исторические уроки. Очевидно, большинство претендентов на имя Петра III не дотягивали до идеала и выглядели не слишком убедительно, компрометируя себя. Самым «успешным» претендентом монархического толка на имя Петра III стал, как известно, Пугачев, поэтому возглавленный им бунт, интерпретированный эмоциональными ощущениями простецов, обрстал свойствами священной борьбы социальной Правды с временно торжествующими на святой Руси силами Зла.

*«Самозванчество Е.И. Пугачева как форма социокультурной идентификации»* - третий параграф главы – преследует цель выявить условия и механизмы личной идентификации Е.И. Пугачева в образе народного царя-батюшки, показать реализацию фольклорной монархической модели в поведении повстанческого предводителя в условиях русского бунта. Появление Пугачева в «императорской» ипостаси оказалось закономерным следствием его бурной биографии и благоприятного для затеянного самозванческого предприятия стечения социокультурных обстоятельств. Образ его окончательно обрел черты сакрализованной харизматической личности в «узнавании» яицкими казаками в нем императора Петра III. В обстановке массового почитания и поклонения антиномизм психических установок у Пугачева был преодолен. Задетое самолюбие утешалось готовностью казаков признать в нем «царя-батюшку». В дальнейшем они активно распространяли версию его «царского» происхождения, сдабривая ее картинами мучительных мытарств народного страдальца. Самозванческая интрига в основном развивалась в среде яицких казаков, от которых Пугачев получил своеобразный кредит доверия. Для остального же простонародья достаточно было уверений с их стороны, ибо казаки издавна служили объектом народной идеализации, их образ жизни вызывал подражание. Отсюда и готовность верить в то, во что поверили казаки – в истинность повстанческого «Петра III». В условиях признания в Пугачеве Петра III произошло удвоение харизмы. Харизма Пугачева органично соединилась с

сакральной ценностью царской власти, что усиливало ощущение им своей избранности, особой предназначенности. Высокая самооценка стала завышенной. Как и любому самозванцу, для закрепления идентичности ему необходимо было постоянно «лепить» в сознании «подданных» свой образ как истинного царя. О том, что такие попытки не без успеха предпринимались, свидетельствуют его именные манифесты и указы. Вживанию Пугачева в роль Петра III способствовал и внешний вид. Нарядная, изукрашенная одежда становилась важным элементом в механизме идентификации Пугачева, в обосновании его претензий на царское имя. Благодаря вербальному обожению, названный император, в глазах «подданных», проникался Божественными энергиями и соединялся с Богом. Поскольку сакральная природа вождя сомнений у повстанцев долгое время не вызывала, он полагал возможным распоряжаться душами людей: печься об их спасении, либо лишая их такой возможности. Вероятно, сознанием права вершить «высший суд» следует объяснять тот факт, что самозванный император публично призывал к насильственным расправам. Казни становились доминантой народной веры в Пугачева, как «истинного царя», их часто приурочивали к приезду названного Петра III. Ни о какой случайности здесь не может быть и речи. С традиционной точки зрения неотъемлемым правом государя, даже его обязанностью, является «царская гроза». Эти качества должен был проявлять и предводитель народного бунта в образе истинного царя для реанимации попорченной справедливости. Явная сакрализация образа Пугачева-Петра III в массовом сознании, дополненная его самосакрализацией детерминировала ритуальную символику всего поведения Пугачева, который, играя «роль» Петра III, перевоплощался и входил в его образ, на время полностью забыв о своем самозванстве. Известно, что традиция ритуализированной жизни была амбивалентной, что отразилось и в поведении вождя бунтовщиков. С одной стороны, дистанция от простонародья – он все же царь, вызывала психологическую тягу к своему вождю, стремление быть поближе к фигуре «монарха», занять определенную нишу возле него. С другой стороны, демонстрация доступности царя – он живой человек, хотя и помазанник божий. Перевоплощение Пугачева было столь естественно-органичным, что устраняло остатки сомнений у населения охваченных бунтом и прилегающих к ним территорий. Неуязвимость и успешность вождя, его мистическое прошлое являлись катализаторами веры бунтарей в богоизбранность и истинность предводителя. Ощущая себя всемогущим душ вершителем, Пугачев-Петр III в равной степени считал ответственными перед собой не только господ, но все несогласное с ним население. Выбор «мишени» неизбежно определялся навязанной мышлению традиционно понимаемой общественной стратификацией, культурно-символической оппозицией: «свой» всегда стоит за правое дело, «чужой» же этому делу – безусловный враг. С точки зрения названного Петра III, все, кто ему не подчинялся, – клятвопреступники, нарушившие верноподданническую присягу. Но царь – помазанник Божий, поэтому измена ему – это страшный грех, грешникам же уготованы адские муки и на том, и на этом свете. Призывая к уничтожению господ, Пугачев запрещал казнить тех, кто «приклонял ему свою голову». Самозванческая харизма обнаруживала свою претензию на сакральность в ритуальном праве высочайшего помилования. Принесение присяги превращало людей в «верноподданных рабов его императорского величества» безотносительно к их социальной принадлежности. К участию в этом ритуале привлекались в обязательном порядке все, вступавшие в повстанческое войско. Присяге придавали большое значение, что свидетельствовало о внутренней убежденности Пугачева и его соратников в правоте своего дела, к тому же, позволяло достаточно четко и резко провести размежевание

между «своими» и «чужими». Через реализацию Пугачевым и его окружением фольклорной модели «истинного» царя-батюшки осуществлялась культурно-семантическая идентификация повстанческого вождя с образом «императора Петра III» в его идеализированном виде. Имя-образ Петра III, соединившись в массовом восприятии с харизматической личностью Пугачева, обеспечили «легитимность» всех актов русского бунта.

**В четвертой главе** работы **«Пугачевский бунт в зеркале народной смеховой культуры»** проанализирован «смеховой» ракурс Пугачевского бунта в ощущениях его участников и противников. Поэтому первый параграф назван ***«Изнаночное» царство господ глазами пугачевцев»***. В нем рассматривается эмоциональное преломление в сознании простонародья преобразований, проводимых властью в екатерининскую эпоху, концептуализируется природа смеховой «оболочки» русского бунта и предлагается соответствующая интерпретация протестных «жестов» пугачевцев, в которых особенно актуальным становилось хорошо известное народной культуре «правило изнанки». Измеряя этой субъективной шкалой окружающую их объективную реальность кощунственной ломки сакральных форм социокультурного пространства традиционной культуры, повстанцы неизбежно должны были обратить внимание на отрицательную знаковую семантику устраиваемого господами мира екатерининской России. Едва ли кого могло удивить развитие именно в эту эпоху сценического, зрелищного искусства. В театре по сути дела происходило карнавальное саморазоблачение: «переодеваясь» в чужой образ, меняя маски, танцуя и веселясь, участники сценических действий символически словно бы сами заявляли о своей принадлежности к миру иному, о себе как о ряженных. В этом случае мысленно мог проецироваться известный топос: жизнь есть театр, в котором люди – актеры, играющие роли. Но и наоборот. Театр – есть жизнь. Признание данного обстоятельства помогает лучше понять не только резкое усиление игрового элемента в русской культуре переходной эпохи вообще, но и так называемую «игру в царя», благодаря которой «смешным» нередко выглядел и сам Пугачевский бунт. Приняв имя Петра III, т.е. заявив себя императором, Пугачев в повстанческом лагере создавал порядки по образу и подобию государственных, но они насыщались противоположной ценностной символикой. Акцентируя борьбу двух противоположностей, обратим внимание на последовательно крепостническое законодательство Екатерины II. Например, указ от 22 августа 1767 года запрещал подавать жалобы непосредственно в царские руки. Однако, с точки зрения народа, это было его неотъемлемым правом. В основе представления лежала вера в царскую справедливость, убежденность в том, что государь обязательно встанет на сторону народа. Отмена традиции должна было казаться неправильной, символизировала несправедливость «неправедного» царства. Не случайно, в повстанческом лагере наблюдалась прямо противоположная картина, непохожая на привычную для государственной власти судебно-следственную процедуру. Достаточными здесь считаются доказательства в духе традиции - народные жалобы. В судебном «крючкотворстве» пугачевцы не усматривали особой необходимости, ибо «истинная» вина «подсудимых» Богу, да государю и без того видна. Таким образом, Пугачев-Петр III сознательно поступает как анти-Екатерина, что вполне соответствует традиционному диалогу власти и низов. Не требует дополнительной аргументации известная «дружба» императрицы и факт ее переписки с тогдашними властителями дум просвещенного европейского общества. В противовес ее симпатиям Пугачев проводит политику «непросвещенного абсолютизма», доводя ее до крайней формы выражения. Встречавшихся иногда на его пути ученых мужей он обычно казнил мучительной

смертью. И опять противоположные ценностные знаки, различные смысловые нагрузки и поведенческие императивы. Все наоборот: абсолютной анти-святости должно было противопоставить столь же абсолютную святость. Характерной чертой «перевернутых» порядков господ являлось непомерное обложение социальных низов податями. В условиях продолжавшегося царства Антихриста оно воспринималось как вполне закономерное, но, в глазах народа, несправедливое следствие победы сатанинских сил. Подобная оценка ситуации естественно стимулировала массовое недовольство. Разумеется, «истинный» царь не мог поступать аналогичным образом, увеличивая народные тяготы, его поведение маркируется как прямо противоположное. Все действия самозванного императора должны были манифестировать непрекращающуюся борьбу с «изнаночным» миром изменников-дворян. Реализуя интересы господ, Екатерина окончательно отменила обязательную дворянскую службу. Однако односторонность этой эмансипации должна была восприниматься крестьянами, как очевидная перевернутость, минус-поведение. Пугачев же в образе Петра III декларировал намерения действовать наоборот, реанимировать гармоничные, «правильные» социальные взаимоотношения. При этом место дворян во властной иерархии должны были занять казаки – прочный оплот старины. В рамках мифологического мышления простая перестановка мест социального «верха» и «низа» была невозможна. Она неизбежно должна облекаться как знаковая перемена, что побудило пугачевцев произвести серию символических переименований: например, Зарубин «превратился» в графа Чернышева, Овчинников – в графа Панина и т.д. Мифологическое сознание бунтовщиков слагает свой сакральный топонимикон, дополнявшийся сакральной географией. Повстанческая столица Берда была наименована Москвой и в возрождаемой пугачевцами «святой Руси» заняла ее место. Показательно, что речь шла именно о Москве, но не о Петербурге, который в сознании простонародья символизировал государственное начало, в то время как Москва - центр духовный, символ «праведного» царства. В этой сакральной державе истинно верующий получал статус верноподданного во всех смыслах слова. Неслучайно, что Петербургом - административной столицей - назван Яицкий городок, являвшийся центром Яицкого казачьего войска. Названная же Москвой Берда символически стала «Новым Иерусалимом», сердцевиной праведной земли, местом сгущения традиционного социокультурного пространства. Поэтому, назвав Берду Москвой, Пугачев не сомневался, что новая «этикетка» в массовом сознании повстанцев прочно «прилеплась» к ее сущностному смыслу. В Поволжье, на Урале, в других районах, охваченных бунтом, пугачевцы создавали свое собственное «святое царство», исправлявшее со знаком наоборот «перевернутый» мир господ.

Во втором параграфе *«Пугачевская версия «игры в царя»* бунт и самозванческая интрига Е.И. Пугачева анализируются в контексте фольклорной «игры в царя», изучаются основные правила этой игры и их отражение в протестном поведении Пугачева и пугачевцев. Показано как в ходе бунта реанимировались архетипы народной смеховой культуры, в частности, в виде «игры в царя», в которой на сакрализованном пространстве Руси/России массы заражались обаянием самозванческой харизмы. Переживаемое низами изменение привычного мира трансформировалось в протестное поведение, типологически близкое к карнавальным действиям. Хорошо знакомые фольклорные мотивы наполнялись в бунте иным символическим содержанием. Подобная игра широко манифестирована культурной историей страны, но пугачевская версия представляется одной из наиболее эффектных и эффективных. В содержательном плане игра соответствовала кощунственному стремлению через внешнее подобие

обрести сакральные свойства. В соответствии с условиями, в ней обязательно должен быть ведущий - игровой «царь», который избирался участниками. Народная традиция акцентировала ключевой смысл игры: игровой «царь» должен быть похож на свой реальный прототип. «Царь» в этой игре, с одной стороны, не более чем своеобразный символ, но в то же время и сакральный образ, заданный фольклорной культурой. На него возлагались соответствующие ролевые полномочия, как это и произошло во время появления Пугачева среди яицких казаков в 1773 г. В соответствии с правилами у игрового «царя» - свой семиотически понимаемый дворец, в котором были все необходимые царские атрибуты: государевы покои, «пышно» убранные, почетный караул, который несла «придворная гвардия», здесь же прислуга, а также мальчики, игравшие роль своего рода пажей. Не хватало там только «хозяйки» - государыни, а без нее образ игрового «царя» не полон, не завершен. Поэтому «возвратясь» в Берду, Пугачев «объявил всему войску, что он, будучи на Яике, женился на тамошней казачей дочери Устинье Петровне. А потому и приказывал всем ее признавать и почитать за царицу». В процессе игры она тоже должна вести себя по правилам, но своим поведением словно сигнализировала о нежелании играть. Важным компонентом игры являлось принесение каждым пугачевцем присяги, подразумевавшей разрыв контактов с официальным миром господ. В рамках игрового сюжета присяга могла рассматриваться, как подтверждение своей готовности стать участником игры, т.е. принять и соблюдать ее правила. Игровой контекст предполагает наличие, минимум, двух сторон, маркировка которых должна отличать их друг от друга, что придавало значимость внешней атрибутике. Поэтому клятва дублировалась так же и своеобразным «постригом» - показачьи. Тождество внешнего облика повстанцев должно было символизировать принадлежность к своеобразному «братству» избранных, играющих на одной стороне. То, что человек мог отказаться выполнить в своей подлинной ипостаси, он был обязан сделать как казак, связанный верноподданнической присягой. В начавшейся игре «царь» должен был обрушивать на «подданных» свою «грозу». Поэтому повстанческий смех нередко проявлялся и в многочисленных казнях пугачевцами своих противников. Можно предположить, что смеховой «начинкой» распространенной у повстанцев казни через повешение могло быть ироническое «возвышение». Или наоборот - сбрасывание с башни вниз – это мгновенная перемена «верха» и «низа». Причем, на языке смеховой культуры речь могла идти о тождестве буквальных верха и низа социальным. Следовательно, сбрасывание с башни ритуализировало символическое развенчание. Смеховое прочтение допустимо и при подвешивании бунтарями своих жертв за ноги. Перевертывание «вверх ногами» подобно здесь тому, как сам бунт переворачивал в целом все существующие порядки. Игра может продолжаться лишь до тех пор, пока ее участники придерживаются общепринятых правил. Пока пугачевцы одерживали победы, все было в порядке. Бунтовщики убеждались, что повстанческий император сохраняет свою сакральную силу. Нарушение же игрового стереотипа табуируется культурными установками, подрывает веру в подлинность нарушителя, что приводит к печальной развязке. Пережив в «царственном» бракосочетании свой апогей, игра заметно истощила потенциал, и играющие стремились быстрее сделать последние предусмотренные ходы, чтобы ее закончить. Когда магическое могущество, как казалось, покинуло «царя», его войско стало терпеть неудачи. На попытки Пугачева по-прежнему играть свою роль казаки теперь отвечали явно выраженным отказом. Однако правила игры заставляли их предоставить «царю» возможность бежать, доказать свою «успешность», и такой побег состоялся. Будущее теперь зависело только от него. Но удача, как видно, оставила самозваного «царя», догнав «связали злодею руки назад».

Овладев оружием, Пугачев пошел на одного из заговорщиков, «уставя в грудь пистолет, у котораго и курок спустил, но кремень осекся». Более зримых доказательств утраты сакральной поддержки быть не могло. К этому времени игровой «запал» полностью истощился, и игра плавно подошла к своему финалу. Можно сказать, что Пугачевский бунт, читаемый на «языке» традиционализма придавал глубокую социокультурную значимость каждому «жесту» участников, творящих игру. В пугачевской версии «игры в царя» выделяются четкие смысловые блоки: 1) завязка: избрание в «цари»; присяга как признание его ведущей роли в игре; 2) ход игры: опалы-казни; создание соответствующей «царской» атрибутики в виде «дворца», «гвардии», «придворных»; женитьба на игровой «царице», формирование ее свиты из фрейлин. Наступает игровой апогей; 3) заключительная стадия: арест; побег как испытание (убежит/не убежит), брань и побои; суд (определение виновности/невиновности) и казнь. Поскольку бунт – это сигнал тревоги об общем бедствии, чтобы быть понятым он должен был восприниматься на родном языке, на том, на котором писал свой «текст». Поэтому несомненным результатом пугачевской «игры в царя» можно считать то, что бунтовщикам удалось спровоцировать дворянство реанимировать в своей памяти знакомый им прежде, но уже, казалось, забытый язык традиционной культуры.

Третий параграф *«Перевернутое» пространство Пугачевщины глазами дворян* высвечивает «смеховую» реакцию дворянства на Пугачевский бунт, основные формы восприятия господствующим сословием протестного поведения простонародья. Отмечается, что многие «слова» традиционного лексикона к исходу XVIII столетия уже забылись дворянами. Поэтому в своих действиях они нередко игнорировали традиционные способы смеховой речи, утратившие в их глазах смысловую привязку. В то же время, надо заметить, что российские дворяне XVIII в. не были чужды смеху, они любили всласть, с удовольствием посмеяться. Екатерининская эпоха в целом знаменательна интенсивным обращением образованного общества к языку смеха, но только переиначенного на новоевропейский манер. Можно заметить, что и сама Екатерина «смеялась» достаточно много и часто, но делала это по-новому, в ее смехе отчетливы следы профанного рационализма. Различные сферы жизнедеятельности светского общества были достаточно маркированы праздничным, увеселительным, смеховым антуражем. Поэтому можно полагать, что дворянство в канун Пугачевского бунта было вполне подготовлено к восприятию объективной реальности на языке смеха. Но ставший уже привычным для дворян «смех ради смеха» существенно отличался от разоблачительного «хохота» народной культуры. Он не был способен срывать благопристойные маски с кровоточащих язв социального тела, или обнаруживать источники зла и развенчивать их в смехе. Раздвоенность смехового мира – характерная черта традиционной культуры - практически отсутствует в развлекательных постановках и творениях XVIII века. Уже отмечалось, что Пугачев и его сподвижники воспринимали порядки екатерининской России как «королевство кривых зеркал». Но и облаченные в иноземный камзол господа, с трудом вспоминая язык традиционной культуры, нередко осмысливали Пугачевский бунт в категориях изнаночного мира. Господствующим сословием Пугачев также воспринимался иронически, «со смехом», в «перевернутом» изображении. Это проявлялось, например, в именовании его «маркизом», «чучелой», «которою воры Яицкие казаки играют». Или же «сыном тьмы и ада, другом бесов и наперстников сатанинских», «адским извергом» и т.д. Народный бунт воспринимался дворянами как самое большое зло, как абсолютное разрушение сложившейся системы ценностей. Они понимали, что «рабы» не слушаются и не служат своим господам, а вместо этого чинят насилия, мучают, убивают, разоряют их. Бунтари

забывают свой социальный статус и присваивают себе новый. Господа при этом становятся на место холопов, и возникает новая система отношений, как перевернутое отражение существовавшей. Не стоит удивляться, что на время Пугачевского бунта дворянами были полностью заблокированы все традиционные реакции, связанные с патриархальными отношениями и мифом о «добром барине». Заметим, что издевательские ругательства, употребление нелестных эпитетов в адрес участников народного протеста несли в себе и глубоко символический подтекст. Речь шла о соотносительности повстанческого вождя и его дела с черными, колдовскими силами, отождествление его со вселенским Злом. В устах дворян явственно был слышен отзвук традиционного языка. Постепенно представители господствующего и других сословий втягиваются в затеянную казаками в условиях Пугачевского бунта «игру в царя», будучи не в состоянии противостоять ее чарующей магии. Любая игра заразительна, тем более «игра в царя», обладавшая особым магнетизмом, мистической привлекательностью. Ведь ставкой в этой игре была сама жизнь. Такая игра словно завораживала всех вокруг, интриговала, заинтересовывала и, как следствие, вела к расширению состава играющих. Дворянство сначала просто наблюдало за игрой. Находясь в числе «зрителей», негодовало на происходящее, требовало и стремилось пресечь завораживающее зрелище. Оказавшись на краю пропасти, дворяне все чаще пытаются говорить на понятном народу языке смеха. Разоблачая самозваного императора, интуитивно апеллируют к «карнавальному» образу Пугачева-Петра III. Его интерпретируют как «царя»-самозванца, т.е. представителя колдовского, вывороченного мира. Такое поведение можно рассматривать как ритуальное, а значит, публичное, разоблачение символически-высокого статуса пленника. Из «милосердия», как утверждалось, Пугачева даже казнили «наоборот», отрубив конечности в обратной последовательности. Однако смеховая символика казни «наоборот» не была понята свидетелями и современниками из среды знати. Просвещенные дворяне искали объяснения произошедшему с позиций формальной логики, в то время как возможна и символически-смеховая трактовка этой расправы «наоборот». О том, что своеобразная знаковая семантика присутствовала в действиях господ, боровшихся с Пугачевщиной, свидетельствуют также и так называемые символические казни в отсутствие живого преступника, когда уничтожались манифесты и указы пугачевцев, был сожжен дом Пугачева, выкорчеваны деревья на его усадьбе и т.д. Тем самым дворянство актуализировало мифологический характер традиционного мышления, подстраивало свое поведение под привычные простецам нормативно-смысловые каноны. Стремление к «карнавальному» развенчанию мнимого монарха побуждало следователей в ходе допросов заставлять повстанцев признавать, что теперь они считают своего вождя самозванцем Пугачевым. В своем самозванстве публично и неоднократно заставляют сознаваться самого повстанческого вождя. Сказанное дает основание полагать, что, анализируя Пугачевский бунт в контексте мироощущения дворян, мы вновь оказываемся в мире перевернутых, смеховых отношений. Очередная констатация данного обстоятельства окончательно убеждает в существовании несомненной связи народного смеха и русского бунта.

**В пятой главе «Ритуальный символизм повстанческих казней в ходе Пугачевщины»** исследуется важнейшая составляющая русского бунта – его насильственная практика, которая получает социокультурное истолкование. В первом параграфе *«Психологическая природа повстанческого насилия»* речь идет о тех факторах, которые формировали потенциальную психологическую готовность людей различной сословной принадлежности к применению жесточайшего, нередко



принимавшего изуверские формы, насилия в виде казни своих противников. Исследуются механизмы, приводившие в действие «дремлющую» деструктивную энергию масс, заставлявшие общественные низы прибегать к ничем не сдерживаемым жестокостям против тех, кто находился по другую сторону баррикад. Показано, что природа народного насилия во многом «замешана» на характерном для традиционной ментальности отношении к смерти, которая не воспринималась как полный и бесповоротный разрыв, между миром живых и мертвых не ощущалось непроходимой пропасти. Отмечается значение подражательности государственным репрессивным институтам, как фактора располагавшего к насилию. Подчеркивается, что бунтарям была свойственна подражательность и друг другу, например, заразительным примерам казачьей вольницы, скорой на расправу. Подражательность была также следствием традиционной общинной психологии, происходила своеобразная интериоризация - общинные ценности признавались своими. В традиционной «картине мира» окружающая действительность оценивалась через аксиологические категории «мы» и «они», «свои» и «чужие». Повстанческая агитация, «наклеивая» на «чужих» различные нелестные ярлыки, ориентировалась на соответствующие психические установки и становилась доминантой враждебных чувств к противнику. Необходимо отметить в эскалации массового насилия роль, сыгранную разного рода преступными элементами - каторжниками, мародерами, уголовниками всех мастей, зачастую принимавшими активное участие в бунтах. Они привносили в протестное поведение свое понимание способов и перспектив борьбы. Анализируя повстанческие действия, необходимо отметить, что важным в них являлся мотив мести, но речь не должна идти только о «классовой мести». Дело, скорее, заключалось в магическом символизме расправ над врагами, что придавало казням ритуальный характер. В них сказывалась особая агрессивность отмщения, в которой заложены элементы магического или ритуального характера, представление о том, что убийство совершившего злодеяние магическим способом вытесняет само преступление в результате расплаты. Не последнюю роль в разжигании страстей играл низкий уровень жизни народа. Показателем материальной неустойчивости, его нищеты служили резкие смены настроений и колебания психики. В результате массы легко впадали в панику, что приводило к внезапным иррациональным взрывам возмущения с сопутствовавшей им жестокостью. Другой установкой, провоцировавшей готовность простецов к насилию, было осознание ими справедливости и законности своих действий, наличие своего рода «санкции на насилие», исходящей якобы от царя или от общины-мира. Уверенность в ней прослеживается, например, в слухах о государевых указах бить бояр. Не сомневаясь в его поддержке, простолюдины переходили к насильственным расправам, не дожидаясь соответствовавшей царской реакции. Важным элементом бунтарской психологии было представление о собственном достоинстве, особом, но равном достоинству правящей элиты. Поэтому повстанцы требовали того же уважения к себе, каким пользовались вышестоящие в социальной иерархии. Нередко «возвышение» бунтующих достигалось за счет унижения противника. Следует указать и на извечную константу отечественной истории - постоянную готовность людей к метафизическому и буквальному бунту против любых правовых норм, которая оказывалась зеркальным отражением векового противостояния народа государственному деспотизму. Сказанное объясняет потенциальную готовность масс при необходимости прибегнуть к ничем не сдерживаемому насилию против тех, кого они считали своими врагами. Потенция перерастала в детерминанты поведения, когда в ходе движений социального протеста рождался феномен толпы. Без этого деструктивная энергия масс, по-видимому,

«дремлет». Согласно аргументированному мнению, в толпе индивид перестает быть самим собой. Он становится беспрекословным исполнителем чужой воли, поддается общему потоку. В толпе резко повышается инстинкт деструктивности, она становится безжалостной и беспощадной. Отмечают три главных причины подобной метаморфозы: чувство анонимности, которое возникает в толпе, в результате человек ощущает безнаказанность, отсутствие ответственности за свои поступки; феномен заражения, когда каждое чувство и действие, возникающие в толпе, словно вирус заражают окружающих; в толпе люди становятся легко внушаемыми. Они принимают на веру и послушно исполняют указания фанатичных лидеров. Совокупное действие всех названных факторов, многократно катализируемое различными конкретно-историческими обстоятельствами жизни страны в переходный период, приводило к тому, что простолюдины не только брались за оружие, но и начинали грабить, насилловать и убивать. В результате насилие и бунт связывались самым непосредственным образом.

Во втором параграфе *«Символы и смыслы казней в стане Пугачева»* расправы, применявшиеся пугачевцами, показаны с точки зрения их ритуально-символической подоплеки. Присутствие символической стороны у той или иной сферы человеческой жизнедеятельности является свидетельством ее соприкосновения с пространством культуры. В ходе Пугачевщины символика также играла важную роль, но ритуальный символизм повстанческих казней выступал в неявно выраженной форме и их мифологические истоки можно только предполагать на архетипическом уровне. В числе «излюбленных» расправ пугачевцев со своими противниками было повешение, которое издревле считалось одной из наиболее позорных казней. В контексте религиозного мировосприятия, со смертью человека его душа отлетает на небо. Однако когда человека казнят через повешение, душа не может покинуть тело, мечется и, наконец, находит выход через анальное отверстие. При этом душа оскверняется. В результате жертва лишается надежды на Спасение. Очевидно, это обстоятельство могло склонять бессознательный выбор бунтарей в пользу казни всякого рода «благородных» именно через повешение, они уничтожали их не только физически, но совершали надругательство и над душой казнимых. Обратим внимание на то, что после повешения Пугачев нередко запрещал хоронить тела казненных. Подобное поведение бунтовщиков в основе своей могло восходить к бинарному делению мира на культурно-символические оппозиции. Поскольку дворяне, по мнению пугачевцев, продали души свои дьяволу, мать-сыра Земля не могла принять их останки. Следовательно, они не заслуживали обычного захоронения, воспринимались как «нечистые» покойники. Неслучайно, их трупы переносили за пределы населенного пункта, перемещали за границы священного локуса. Таким образом, глумливое издевательство бунтовщиков над жертвами получает истолкование в свете культурных архетипов коллективного бессознательного. Для пугачевцев был характерен и иной символический дискурс, связанный с архаическим культом воды. Неслучайно, они неоднократно применяли к своим жертвам утопление. Можно предположить, что такая их «приянь» к водным видам казни - не что иное, как символический церемониал очищения. За водой в славянской мифологии признавалось очищающее и оживляющее значение. Вода выполняла ритуальную роль, и это ее значение, возможно, неявно сохранялось в действиях пугачевцев. Аналогичный ментальный контекст обнаруживается и в связи с культом огня, который подобно воде выступал в качестве ритуальной стихии. Связь казни сожжением с религиозно-церковными делами, как представляется, подтверждает ее ритуально-мифологическую родословную. Психология пугачевцев наверняка

сохраняла архетипические припоминания об этом. В таком смысле, например, практически полное сожжение бунтовщиками Казани может рассматриваться как ритуально-символический акт очищения города от скверны. Однако они не злоупотребляли подобными расправами, предавая огню города, села, имения, заводы и т.п., но не людей. Можно предположить, что использование огня для пугачевцев - своеобразный демонстративный акт. Редкие свидетельства сохранили сведения о том, как пугачевцы сдирали со своих врагов кожу заживо. Изуверство повстанцев, однако, обнаруживает любопытную ретроспекцию в так называемых легендах о сбрасываемой коже. Поэтому такую казнь можно с мифо-символической точки зрения рассматривать как ритуальное действие дарования жертве бессмертия. Но поскольку человек все же смертен, следовательно «вечная жизнь» ему даруется в загробном мире. Таким образом, принимая смертные муки сдираания кожи, человек как бы обретал вторую – потустороннюю жизнь. В этом смысле данная казнь, при всей ее нечеловеческой жестокости, выступала также своего рода церемониалом очищения и в ней отражалась бессознательная память повстанцев о своем мистическом прошлом. Ритуальная символика предполагается и в рассечении человеческого тела на части, которое относится также к очистительным обрядам, что отразилось, например, и в русском фольклоре. Можно предположить, что, рассекая своих противников на части, пугачевцы фактически совершали обряд жертвоприношения, и подсознательно стремились обезопасить себя от вражеских козней. Расчленение можно рассматривать и как избавление от всякого рода нечистой силы, вселившейся в казнимого. Иначе он едва ли стал бы бороться против благоверного государя. К этому надо прибавить еще и рассуждения о мистическом значении крови, которая осмысливалась как приносящая силу и молодость. Разумеется, пугачевцы, подобно герою русской сказки, не пили кровь своих заклятых врагов. Однако символически-обрядовый смысл ритуала кровопролития, как и представления о мистической силе крови, пусть лишь в форме архетипических припоминаний, могли определять выбор пугачевцами такого способа казни. Ритуально-мифологический характер, вероятно, имели многочисленные расправы, в ходе которых бунтари того или иного врага «закололи», а также многие другие способы умерщвления. В целом проведенный анализ доказывает, что решающим моментом для понимания насилия со стороны бунтовщиков является понятие контекста, которое вытекает из признания первичности социокультурной ситуации для понимания человеческого поведения. Следовательно, насилие бунтовщиков культурно конструируется и всегда культурно интерпретируется.

Последний параграф пятой главы *«Торжество дворянской России или эпилог русского бунта»* призван раскрыть карательную практику правящих кругов по отношению к участникам Пугачевского бунта, акцентировать общие и отличительные черты репрессивной политики карателей в сравнении с повстанческим насилием. Можно утверждать, что кровавое насилие, составлявшее одну из наиболее ужасающих страниц русского бунта, имело двустороннюю окраску. Ни о каком «непротавлении злу насилием» речи идти не могло. К крайним мерам физического воздействия в отношении своих врагов прибегали не одни только бунтовщики, но и правящие круги. Пытаясь под давлением бунтовщиков «читать» Пугачевщину на языке традиционной культуры, что получалось с трудом, господствующее сословие болезненно реагировало на «сатанинский хохот» русского бунта и резко негативно встречало любые известия об успехах повстанцев. В осмыслении происходящего дворяне постоянно сбивались на более привычную для них «лексику» новой культуры, в свете которой бунт оказывался препятствием на пути прогресса. Поэтому для его «очернения» дворянство не жалело

красок. Воспринимая борьбу с Пугачевщиной как государственную службу, дворяне и к расправам над бунтовщиками должны были относиться как к совершению официального правосудия. В реальности же этого не произошло. Судебно-правовой процесс, хотя и напоминавший фарс с заранее известным итогом, составлял редкое исключение в карательной практике властей, которая также несла в себе символический заряд. Очевидно, что тогдашняя эпоха была нерасторжима от понятия насилия, соответствующими были и нравы. Свою логику репрессий государственная машина задействовала в процессе борьбы с Пугачевским бунтом, что обеспечивало их действиям своеобразную культурную семантику. Одерживая военные победы над пугачевцами, правительство стремилось закреплять свой успех серией карательных мероприятий различного характера. Важнейшее место среди них отводилось официальному следствию над вождями и участниками Пугачевского бунта. В Казани была учреждена секретная комиссия для расследования первопричин восстания, выявления возможных его инициаторов, установления причин столь быстрых успехов мятежников. Комиссия должна была стать своего рода «парадным лицом» императрицы в глазах просвещенной Европы. С ее помощью она стремилась показать всему миру, что в борьбе со «зверским намерением» бунтовщиков ставит Закон выше личных амбиций, естественного чувства озлобления и жажды мести. Неслучайно, Комиссия уже изначально оказалась «завалена» огромным количеством дел. Оперативно и эффективно их разбирать удавалось не всегда. Кроме того, приходилось постоянно расширять охват следствием все новых территорий, отвоеванных у пугачевцев. Поэтому была учреждена еще одна секретная комиссия - в Оренбурге. Комиссии совмещали в себе функции следственных и судебных органов, что отражалось и на результатах их деятельности, которая контролировалась Тайной экспедицией Сената. В начале августа 1774 г. в Яицкий городок из Оренбурга был направлен член Секретной комиссии, гвардии капитан-поручик С.И. Маврин. Он возглавил образованную там отделенную секретную комиссию, действовавшую на правах выездного филиала Оренбургской комиссии. Именно ему выпала сомнительная честь первым допросить захваченного в плен повстанческого «императора». В конце 1775 г. Тайная экспедиция Сената составила сводные ведомости о наказаниях пугачевцев, которые удивили американского историка Д. Филда своим гуманизмом. Не будем, однако, спешить с восторгами относительно снисходительности екатерининского правительства, к которой публично призывала сама императрица. На самом деле, количество репрессированных пугачевцев было много больше. Однако какие-либо суммарные итоги привести невозможно из-за отсутствия сводных данных такого рода в имеющихся документах. Положение и правомочия Секретных комиссий существенно уменьшились в связи с назначением на пост главнокомандующего карательными войсками П.И. Панина, который был известен как сторонник массовых репрессий. Во всех местах, где действовали каратели Панина, с участниками Пугачевского бунта расправлялись жесточайшим образом, без ложного лицемерия и стеснения. Эти масштабные, а главное, внесудебные расправы не могли не смущать официальных лиц, заинтересованных в сохранении «лакированного» имиджа империи и императрицы. Но их упреки не возымели серьезных последствий. В городах, селениях и на дорогах Поволжья и Оренбургской губернии были установлены по приказу Панина виселицы с трупами повешенных повстанцев, которых запрещалось снимать и хоронить неделями и месяцами. В таком поведении прослеживается, во-первых, традиционное стремление властей устрашить толпу. Но едва ли это объяснение можно считать достаточным для полноценного понимания действий карателей. Цель их - не просто наказывать «изменников» и устрашать колеблющихся. Это одновременно и

культурно-семантический знак - намек на вершение Высшего суда, ибо прегрешения Пугачева и его «богоненавистных сообщников страшному божиему и вышешмонаршему подверже суду и гневу». Орудием этого суда, очевидно, и считал себя Панин. Наполненной зловещей символикой выглядела и расправа над самим - Пугачевым и его ближайшими помощниками. Соответствующий ритуальный вид предполагалось придать уже «торжественному» въезду повстанческого «императора Петра III» в Москву. Но эти намерения не вызвали энтузиазма у Екатерины II, которая возражала против «всякой дальней аффектации». Процесс по делу «изверга и злодея рода человеческого» также преследовал своеобразную религиозно-нравственную семантику - должен был символизировать торжество Высших божественных сил, над «суеверием, дышущим злом» во главе с «лютым зверем и всеядовитым врагом и нарушителем всеобщего спокойствия и тишины». На деле это был всего лишь фарс, о чем недвусмысленно говорилось в одном из писем Екатерины II. Выбор казни главным бунтовщикам, как представляется, тоже не был случайным, он назначался в полном соответствии с традицией: одним расчленение на части, а другим повешение. Таким образом, способ наказания «злодеев» оказался частью ритуально-символического действия очищения общества от скверны бунта. Приговор был приведен в исполнение. Дворянская Россия могла торжествовать. Наступал эпилог русского бунта. Он постепенно уходил в прошлое, становился достоянием фольклора – не только сочувствующего, но и враждебного, сублимировался в преданиях и легендах.

**В заключении** подводятся главные итоги всей диссертационной работы, делаются основные выводы, вытекающие из проведенного исследования, подчеркиваются возможные перспективы и направления дальнейшего изучения темы. Благодаря понимающей парадигме истории Пугачевский бунт был интерпретирован посредством системы правил, присущих изучаемой эпохе. Полагаем, были приведены убедительные аргументы в ответ на категоричный научный императив: «Явление считается понятным, если найдены корректные концепции для его описания». На примере Пугачевщины русское бунтарство было показано как многомерное явление расколотого общества, переходной культуры, пораженной кризисом традиционной идентичности, как важнейшее звено в механизме культурной идентификации. Поэтому протестное поведение Пугачева и пугачевцев - это яркая проекция коллективной ментальности переходной эпохи, своими культурными истоками уходившей в архаическую древность. Это был ответ традиционной культуры на вызов модернизации, с помощью которого она пыталась транслировать свои ценности в будущее, анонсируя смысловое предназначение русского бунта как символического моста между прошлым и будущим, как отчаянной попытки аксиологической апологии традиционализма в условиях насильственной модернизации. В ожесточенном противостоянии сошлись два разных типа культуры, воплотившиеся в двух разных знаковых системах, и мирный диалог между ними оказался практически невозможен. Русский бунт анонсировал народную альтернативу государственной модернизации. В нем традиционализм сублимировал свой социокультурный багаж и во весь голос заявлял о собственном праве на существование. В такой равновесной ситуации шансами на успех обладали обе альтернативы, но реализовался модернистский в духе вестернизации вариант, за которым стояла мощь дворянской России, создавшей затем живописный миф о «бесмысленном» и «беспощадном» русском бунте. И этому не стоит удивляться, как известно, история всегда пишется победителями.

**Апробация работы.** Различные аспекты диссертационного исследования были апробированы в работе научных конференций разного уровня: региональных (10),

всероссийских (4) и международных (4) – Владивосток, Ишим, Комсомольск-на-Амуре, Москва, Нижневартовск, Сургут, Уссурийск, Хабаровск. Основные положения диссертации нашли отражение в автореферате и в 38 научных (36) и учебно-методических (2) публикациях, четыре из которых размещены в Интернете на порталах Института «Открытое общество» и Центра цивилизационных исследований РАН:

#### Монографические издания

1. Мауль В.Я. Народные движения в России XVII-XVIII веков в культурно-историческом измерении // Мауль В.Я., Новиков С.Г. Очерки по истории российской цивилизации. - Комсомольск-на-Амуре: Изд-во КГПИ, 1998. - С.22-36. (0,9 п.л.).
2. Мауль В.Я. Особенности российской цивилизации: теоретический и исторический аспект // Мауль В.Я., Новиков С.Г. Очерки по истории российской цивилизации. - Комсомольск-на-Амуре: Изд-во КГПИ, 1998. - С.5-21. (1 п.л.).
3. Мауль В.Я. Харизма и бунт: психологическая природа народных движений в России XVII-XVIII веков. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. - 218 с. (13,6 п.л.).

#### Учебные пособия

4. Мауль В.Я. Историография отечественной истории (с древнейших времен до начала XX века): Курс лекций для студентов исторического факультета. - Комсомольск-на-Амуре: Изд-во КГПУ, 1999. - 120 с. (7,5 п.л.).
5. Мауль В.Я. Введение в историю: учебное пособие для студентов. - Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2003. - 120 с. (7,5 п.л.).

#### Статьи

6. Мауль В.Я. Народные движения XVII-XVIII вв. в России // Очерки по отечественной истории. [Сб. статей]. - Комсомольск-на-Амуре: Изд-во КГПИ, 1993. - С.52-67. (1 п.л.).
7. Мауль В.Я. Революционная мысль в России: от Радищева до Ленина // Очерки по отечественной истории. [Сб. статей]. - Комсомольск-на-Амуре: Изд-во КГПИ, 1993. - С.86-104. (1,1 п.л.).
8. Мауль В.Я. Манифесты и указы «амператора Петра Федоровича» как источники по истории Пугачевщины // Актуальные вопросы исторической науки. [Сб. статей]. - Комсомольск-на-Амуре: Изд-во КГПИ, 1996. - С.4-18. (1 п.л.).
9. Мауль В.Я. К вопросу о природе повстанческого насилия в России XVII-XVIII веков: некоторые аспекты изучения // Россия и Запад: проблемы истории и культуры: [Сб. научных трудов]. / Отв. ред. Я.Г. Солодкин. - Нижневартовск: Изд-во НГПИ, 2003. - С.123-137. (1 п.л.).
10. Мауль В.Я. Ритуальный символизм повстанческой казни в России (по материалам Пугачевского восстания) // Вестник Томского государственного университета. - 2003. - Вып.276. - С.53-62. (1,75 п.л.). (<http://www.auditorium.ru/aud/p/lib.php?id=1630>).
11. Мауль В.Я. Пугачевский бунт в зеркале народной смеховой культуры // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. - М.: Едиториал УРСС, 2004. - Вып. 11. - С.275-292. (1,5 п.л.)
12. Мауль В.Я. Русский бунт в зеркале перевернутого мира смеховой культуры (по материалам Пугачевского восстания) // Славянский альманах 2003: Ежегодник Ин-та славяноведения РАН. - М.: Индрик, 2004. (1,25 п.л.).

13. Мауль В.Я. Имя-образ императора Петра III в механизме культурной идентификации переходной эпохи (по материалам Пугачевского бунта) // Проблемы истории культуры. [Сб. научн. трудов]. - Нижневартовск: Изд-во НГПИ, 2005. - Вып.2. - С.178-187. (0,75 п.л.).
14. Мауль В.Я. Мифо-ритуальные символы и социокультурные смыслы казней в стане Е.И. Пугачева // Вестник Томского государственного университета. Бюллетень оперативной информации. - Январь 2005. - №40: Социокультурные аспекты изучения русского бунта. - Томск, 2005. - С.108-159. (3 п.л.).
15. Мауль В.Я. О смысле «бессмысленного» русского бунта (историографические традиции и методологические новации) // Малоизученные и дискуссионные проблемы отечественной истории. [Сб. научн. трудов]. - Нижневартовск: Изд-во НГПИ, 2005. - С.122-132. (0,75 п.л.).
16. Мауль В.Я. Пугачевская версия «игры в царя» // Историк и художник: ежеквартальный журнал. - М.: Знак, 2005. - Вып.2. (1 п.л.).
17. Мауль В.Я. Русский бунт как поиск традиционной идентичности (историографические и методологические заметки) // Клио. - [СПб.]. 2005. - №1 (28). - С.17-25. (1,2 п.л.).
18. Мауль В.Я. Самозванные цари и царевичи в социокультурной ретроспективе русского бунта (до Пугачевского восстания) // Вестник Томского государственного университета. Бюллетень оперативной информации. - Январь 2005. - №40: Социокультурные аспекты изучения русского бунта. - Томск, 2005. - С.5-43. (2,5 п.л.).
19. Мауль В.Я. Смеховое зазеркалье Пугачевского бунта: опыт интеллектуальной рефлексии // Вестник Томского государственного университета. Бюллетень оперативной информации. - Январь 2005. - №40: Социокультурные аспекты изучения русского бунта. - Томск, 2005. - С.64-107. (2,75 п.л.).
20. Мауль В.Я. Штрихи биографии Е.И. Пугачева в социокультурном контексте переходной эпохи: опыт нового прочтения // Вестник Томского государственного университета. Бюллетень оперативной информации. - Январь 2005. - №40: Социокультурные аспекты изучения русского бунта. - Томск, 2005. - С.44-63. (1,25 п.л.).

#### Материалы научных конференций

21. Мауль В.Я. Гуманистический идеал в историческом аспекте // Матер. 44-й студенч. научн. конф. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. - С.16-17. (0,15 п.л.)
22. Мауль В.Я. О психологии повстанческих масс XVII-XVIII вв. в России // Проблемы русской духовности и современность. Тез. докл. научн. конф. - Хабаровск: Изд-во ХГПИ, 1993. - С.41-44. (0,2 п.л.).
23. Мауль В.Я. К вопросу о термине «крестьянские войны» XVII-XVIII вв. в России // Четвертая Дальневосточная конференция молодых историков. Докл. и тез. - Владивосток: Дальнаука, 1996. - С.47-49. (0, 15 п.л.).
24. Мауль В.Я. Некоторые аспекты психологии повстанческого насилия в России XVII-XVIII вв. // Эволюция и революция: опыт и уроки мировой и российской истории. Матер. междунар. научн. конф. - Хабаровск: Изд-во ХГПИ, 1997. - С.105-108. (0,2 п.л.).
25. Мауль В.Я. О психологической природе повстанческого насилия в России XVII-XVIII веков // Личность в меняющемся обществе. Тез. докл. и сообщ. Всеросс. научн. конф. - Комсомольск-на-Амуре: Изд-во КГПИ, 1998. - Ч.2. - С.49-52. (0,25 п.л.).

26. Мауль В.Я. Феномен народного монархизма в России XVII-XVIII веков как культурно-историческое явление // *Философские аспекты культуры*. Матер. науч.-практич. конф. - Комсомольск-на-Амуре: Изд-во КГПИ, 1998. - С.52-58. (0,45 п.л.).
27. Мауль В.Я. *Historia est magistra vitae* или нужна ли история в техническом вузе // Развитие науки и образования в регионе: матер. межвуз. науч.-практич. конф. - Нижневартовск: Приобье, 2002. - С.25-31. (0,25 п.л.)
28. Мауль В.Я. Историко-педагогическая парадигма в поисках идентичности (перспективы истории в техническом вузе) // *Актуальные проблемы преподавания гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин*. Матер. регион. науч.-практич. конф. - Ишим, 2003. (0,45 п.л.)
29. Мауль В.Я. «Квадратура круга» или «хождение по мукам» (курс истории в нефтегазовом университете на фоне юбилея) // *Состояние и перспективы развития инженерно-технического образования в Тюменском регионе*. Матер. регион. науч.-практич. конф. - Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2003. - С.18-22. (0,25 п.л.)
30. Мауль В.Я. Народный монархизм в Сибири (по материалам Пугачевского восстания) // *Северный регион: стратегия и перспективы развития: Сб. тез. докл. Всеросс. научн. конференц.* - Сургут: Изд-во СурГУ, 2003. – Ч.1. - С.66-67. (0,15 п.л.).
31. Мауль В.Я. Пугачевский бунт в зеркале перевернутого мира смеховой культуры // *Десять лет высшего исторического образования в Ханты-Мансийском автономном округе: Матер. межрегион. научн. конф.* - Нижневартовск: Изд-во НГПИ, 2003. - С.60-68. (0,5 п.л.). (<http://www.auditorium.ru/aud/p/lib.php?id=616>).
32. Мауль В.Я. Казусная история Пугачевского бунта в социокультурном измерении // *Проблемы славянской культуры и цивилизации: Матер. VI междунар. науч.-методич. конф.* - Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2004. - С.24-27. (0,5 п.л.). (<http://www.auditorium.ru/books/6280/text.pdf>).
33. Мауль В.Я. Пугачевская версия игры в царя как феномен народной культуры // *Деятельностное понимание культуры как вида человеческого бытия: Матер. II междунар. научн. конф.* - Нижневартовск: ООО «ПолиграфИнвест-сервис», 2004. - С.141-143. (0,25 п.л.)
34. Мауль В.Я. «Революция сверху» и русский бунт: социокультурный дискурс XVIII столетия // *Иерархия и власть в истории цивилизаций: Матер. Третьей междунар. научн. конф.* - М.: Ин-т Африки РАН, 2004. (0,1 п.л.). (Maul' V.Y. «Revolution from Above» and Russian Bunt: Social and Cultural Discourse in Eighteenth Century Russia // *Hierarchy and Power in the History of Civilizations. The Third International Conference Book of Abstracts.* <http://civreg.ruenglish/conf/hierarchy2004.html>)
35. Мауль В.Я. Русский бунт в зеркале перевернутого мира смеховой культуры // *Межрегиональная конференция славистов. Российское славяноведение в начале XXI века: задачи и перспективы развития. (Материалы Всероссийского совещания славистов).* - М.: Индрик, 2004. - С.502-508. (0,5 п.л.).
36. Мауль В.Я. Социокультурный дискурс русского бунта глазами рядового пугачевца // *Народ и власть: исторические источники и методы исследования. Матер. XVI научн. конф. памяти В.В. Кабанова.* - М.: Изд-во РГГУ, 2004. - С.259-262. (0,25 п.л.).
37. Мауль В.Я. Казни в стане Е.И. Пугачева в социокультурной оболочке: некоторые эпизоды отечественного прошлого // *Современные проблемы межкультурных коммуникаций: Матер. науч.-практич. межвуз. очно-заочн. конф.* - Нижневартовск: Филиал ЮУрГУ, 2005. С.126-128. (0,25 п.л.).
38. Мауль В.Я. *Historia est lux veritatis* или еще раз о рейтинге исторического образования в системе высшей школы // *Инновации в образовании и культуре:*



проблемы, тенденции и перспективы развития (Матер. регион. науч.-практ. конф.).  
Нижневартовск: ПолиграфИнвест-сервис, 2005. С.63-66. (0,25 п.л.).